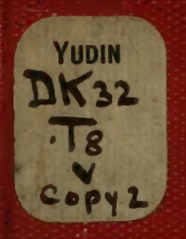

YUDIN
DK32
.T8
v
copy 2


THE LIBRARY OF CONGRESS
1800

КН. Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ

ВОСПОМИНАНІЯ



РОССІЙСКО-БОЛГАРСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
СОФІЯ
1922 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ

Напечатано въ журналѣ „Русская Мысль“, 1921, кн. 1—2, 3—4, 5—7, 8—9, 10—12.

Кн. ЕВГ. Н. ТРУБЕЦКОЙ

ВОСПОМИНАНІЯ

РОССІЙСКО-БОЛГАРСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО.
СОФІЯ — 1921.

Воспоминанія князя Евгенія Николаевича Трубецкого.

Предисловіе.

Настоящія „Воспоминанія“ покойнаго отца моего — князя Евгенія Николаевича Трубецкого, являются частью задуманнаго имъ описанія всей своей жизни. Начало этой работы было положено, какъ сказано во введеніи, въ самые дни февральской революціи 1917 года. Это были воспоминанія о дѣтствѣ. Они носятъ интимно-семейный характеръ и не предназначены для печати, а лишь для семьи и близкихъ родственниковъ. Въ то время отецъ и не предполагалъ еще приступать къ послѣдовательному описанію всей своей жизни.

Весною и лѣтомъ 1919 года онъ написалъ другую часть этихъ воспоминаній: „Путевыя замѣтки бѣженца“, гдѣ описывается уже послѣдній періодъ его жизни: бѣгство изъ Москвы отъ большевиковъ, пребываніе и политическая работа на Украйнѣ и, наконецъ, жизнь и переживаемыя впечатлѣнія на территоріи Вооруженныхъ Силъ Юга Россіи.

Послѣ этой работы у отца окончательно созрѣла мысль воспроизвести послѣдовательно воспоминанія о всей своей жизни, причемъ ранѣе написанныя воспоминанія о дѣтствѣ и „Путевыя замѣтки бѣженца“ должны были сюда войти, составляя общее цѣлое.

Начавъ съ гимназическихъ годовъ жизни — съ 1874 года, онъ довелъ свои воспоминанія до первыхъ

годовъ профессорской дѣятельности, кончая началомъ девятидесятыхъ годовъ прошлаго вѣка, и былъ прерванъ въ серединѣ декабря 1919 года, за мѣсяцъ до своей смерти, отъѣздомъ изъ Новочеркасска по причинѣ наступленія большевиковъ.

Кн. А. Трубецкой.

Константинополь.
1921 г. 6/19 января.

Часть I. Гимназическіе и студенческіе годы.

Ростовъ Д. 1 ноября 1919.

Два съ лишнимъ года тому назадъ, когда въ Петроградѣ въ концѣ февраля пальба на улицахъ возвѣстила конецъ старой Россіи, во мнѣ зародилась непреодолимая потребность вспомнить лучшіе дни пережитаго прошлаго, чтобы въ этихъ воспоминаніяхъ найти точку опоры для вѣры въ лучшее будущее Россіи. Тогда я вспомнилъ свѣтлыя радостныя картины моего дѣтства. Съ тѣхъ поръ во мнѣ періодически возрождается потребность вспоминать — т. е. не просто воспроизводить пережитое, а вдумываться въ его смыслъ. Въ минуту, когда старая Россія умираетъ, а новая нарождается на ея мѣсто, понятно это желаніе отдѣлить непреходящее, неумирающее отъ смертнаго въ этой быстро уносящейся дѣйствительности. Къ воспоминаніямъ предрасполагаютъ и внѣшнія условія жизни въ революціонную эпоху.

Человѣку вообще свойственно вспоминать, когда онъ стоитъ лицомъ къ лицу со смертью; говорятъ, что умирающіе вспоминаютъ въ нѣсколько минутъ всю свою жизнь; это воспоминаніе для нихъ — и воскрешеніе прожитой жизни, и судъ совѣсти надъ нею. Когда два года тому назадъ я началъ писать воспоминанія подъ аккомпаниментъ пулемета, трещавшаго надъ крышей моей гостиницы, мнѣ казалось, что въ положеніи умирающаго находится вся Россія. — Те-

перь, наоборотъ, я возобновляю прерванную нить воспоминаній въ минуту, когда самая острая опасность уже миновала. Предстоящія трудности велики, чаша страданій еще не испита до дна, и однако грядущее возрожденіе Россіи уже достовѣрно. Но интересъ къ прошлому вызывается все тѣмъ же мотивомъ, все той же яркой интуиціей смѣны жизни и смерти. Тогда среди начавшагося вихря разрушенія передо мною всталъ тревожный вопросъ, — что не умретъ, что уцѣлѣетъ въ Россіи. Теперь, въ измѣнившейся исторической обстановкѣ, измѣнилась не сущность вопроса, а только способъ его постановки. Разрушеніе уже совершившійся фактъ, и мы спрашиваемъ себя, что оживетъ изъ разрушеннаго, какая жизнь возродится изъ развалинъ.

I. Начало школьнаго возраста. Гимназія Креймана.

Осенью 1874 года мой старшій братъ Сергѣй и я поступили въ третій классъ московской частной гимназіи Фр. Ив. Креймана. Ему было въ то время двѣнадцать, а мнѣ — одиннадцать лѣтъ, и наше поступленіе въ школу было первымъ нашимъ выходомъ изъ дѣтской.

Начало школьнаго возраста для ребенка есть первое его соприкосновеніе съ общественной жизнью. До школы вся жизнь его протекаетъ въ частномъ домашнемъ кругу, гдѣ онъ носитъ *домашнее* уменшительное имя. Переходъ въ школьную среду, гдѣ это дорогое интимное имя вдругъ забывается и замѣняется офиціальнымъ наименованіемъ *по фамиліи* — не изъ легкихъ для мальчика. Помнится, когда вмѣсто привычныхъ именъ „Сережа и Женя“, насъ называли „Трубецкой I и Трубецкой II“, а иногда и съ прибавкой „князь“, — меня обдавало какимъ-то холодомъ. Иногда, впрочемъ, это ощущеніе холода смѣнялось чувствомъ гордости, потому что величаніе по фамиліи напоминало мнѣ, одиннадцатилѣтнему, что я

уже „большой", но въ общемъ все-таки было жутко. Жутко было и отъ соприкосновенія со школьной дисциплиной.

До вступленія въ школу не было существа на свѣтѣ, передъ которымъ я не чувствовалъ бы себя въ правѣ развалиться или облокотиться на столъ обѣими руками. А тутъ, вдругъ, это, казалось мнѣ, неестественное вытягиваніе въ струнку передъ директоромъ и передъ каждымъ учителемъ, который ко мнѣ обратится! — Непонятной, невразумительной показалась на первыхъ порахъ и мысль о коллективной отвѣтственности. Какъ это, вдругъ, я буду страдать за чужую шалость. Когда нашъ классъ былъ какъ-то разъ „оставленъ безъ отпуска", т. е. задержанъ на нѣсколько часовъ въ гимназіи за какую-то шалость, я былъ серьезно обиженъ и пытался отпроситься домой, ссылаясь на то, что мы съ братомъ въ этотъ день „приглашены на вечеръ къ знакомымъ". Когда товарищи вознегодовали, а инспекторъ укоризненно сказалъ: „школа — не частный домъ, Трубецкой", мнѣ стало стыдно чуть не до слезъ, и я просилъ инспектора, чтобы меня одного наказали, а весь классъ отпустили, что вызвало насмѣшки.

Нелегко мнѣ было привыкнуть и къ нѣкоторымъ проявленіямъ духа времени въ школьной средѣ, которыя меня непосредственно задѣвали. Въ семьѣ я былъ воспитанъ въ понятіяхъ о „равенствѣ всѣхъ людей передъ Богомъ". Мои первые друзья были крестьянскіе мальчики, съ которыми я бѣгалъ и игралъ въ бабки, и я не имѣлъ понятія о какихъ либо сословныхъ перегородкахъ. Я слышалъ, что моего отца и насъ — мальчиковъ — иногда титуловали, но не сознавалъ въ титулѣ какого-либо отличія отъ прочихъ людей, думая, что это—просто несущественная прибавка пяти буквъ къ фамиліи. — И, вдругъ, когда я попалъ въ школьную среду, гдѣ мальчики съ раннихъ лѣтъ любятъ щеголять своимъ „демократизмомъ", — слово „князь" сразу получило какое-то непонятно

обидное для меня значенie. — „Князь, аристократъ“ — величали меня съ какимъ-то насмѣшливымъ почтенiемъ. — Всякiй дразнилъ „княземъ“. — Мнѣ было больно; что же тутъ дурного, что я князь, и чѣмъ я виноватъ, что я такъ родился? За что меня попрекаютъ происхожденiемъ? Уже здѣсь въ школѣ я почувствовалъ какой-то аристократизмъ „черной кости“— въ этихъ попрекахъ и въ этомъ желанiи быть „прежде всего демократомъ“, которое неестественно сказывалось уже въ маленькихъ мальчуганахъ. Особенно на первыхъ порахъ приходилось круто; были и особые стишки, которыми насъ изводили:

князь
упалъ въ грязь
стукнулся лбомъ
сдѣлался ......ъ

Потомъ съ теченiемъ времени все это перемѣнилось, и мы стали большими друзьями съ товарищами. Насъ соединило то сообщество ученья и шалостей, которое составляетъ суть школьнаго товарищества. Сословныя перегородки, явившiяся въ началѣ, были побѣждены и исчезли; словно онѣ только затѣмъ и появились, чтобы исчезнуть. Въ этомъ сказывается большое и благодѣтельное воспитательное влiянie всесословной школы.

Вѣянie духа времени ярко окрашивало и низы, и верхи школы. „Низы“, т. е. школьники, хотѣли быть демократичны, именно *хотѣли*, потому что гимназiя Креймана, гдѣ платили повышенную плату за ученье, по существу вовсе не была демократична. Поразительно, что въ казенной калужской гимназiи, гдѣ я впослѣдствiи учился, было куда меньше этого показного самоутверждающагося демократизма, и къ титулу относились куда проще. А въ верхахъ школы духъ времени отражался другой своей стороной. Въ тѣ дни, въ самый разгаръ дѣйствiя Толстовской системы, было въ полномъ ходу *увлеченье классицизмомъ*. На демон-

стративномъ утвержденіи этого классицизма гимназія Креймана дѣлала карьеру. Поэтому она представляла типическій образецъ, на которомъ ярко, рельефно обрисовывались частью достоинства, но еще въ большей степени недостатки системы.

Надо отдать справедливость Францу Ивановичу Крейману въ томъ, что онъ прекрасно подбиралъ педагогическій персоналъ. Между учителями, преподававшими намъ, были хорошіе и даже превосходные. Они давали намъ все, что могли, и умѣли даже заинтересовать насъ—мальчиковъ третьяго и четвертаго класса — въ такихъ сухихъ, скучныхъ матеріяхъ, какъ древніе языки. Въ значительной степени благодаря имъ, я сохраняю о классической гимназіи воспоминаніе, какъ о хорошей школѣ мышленія.

Въ воспитаніи формальной способности мышленія заключается не только главное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и единственное ея достоинство. Съ раннихъ лѣтъ вынуждается мальчикъ отвлекаться умомъ не только отъ родныхъ ему словъ, но и отъ всей современной ему структуры рѣчи: этимъ воспитывается и закаляется прежде всего *способность отвлеченья*, гибкость ума, способность его становиться на чужую точку зрѣнія. Усвоеніе духа древняго языка, воскрешеніе давно умершихъ формъ рѣчи сообщаетъ мысли ту широту, которая составляетъ свойство истиннаго образованія. Поэтому классическая гимназія представляетъ собою незамѣнимую *подготовительную ступень* для гуманитарнаго образованія, для изученія словесности, исторіи, философіи. Если бы классическая гимназія давала хотя бы скромные начатки этого гуманитарнаго образованія, она была бы превосходной школой. Проникновеніе въ духъ древнихъ языковъ было бы чрезвычайно цѣннымъ даромъ, если бы оно служило началомъ проникновенія въ духъ древней культуры.

Къ сожалѣнію, именно этого не было въ нашей русской гимназіи. Средство въ ней стало цѣлью. Она была почти исключительно грамматическою школой, ко-

торая воспитывала формальную способность мышленія, пріучая умъ къ отвлеченію, но вмѣстѣ съ тѣмъ не давала ему рѣшительно никакого содержанія. Я помню тотъ своеобразный филологическій спортъ, который увлекалъ насъ—мальчиковъ 12 — 14 лѣтъ — въ четвертомъ классѣ, когда мы писали латинскія extemporale или распаковывали замысловатую „косвенную рѣчь“ въ классическомъ произведеніи Цезаря; помнится, тѣ лучшіе ученики, которые не списывали, а работали самостоятельно, испытывали при этомъ удовольствіе, знакомое любителямъ шахматныхъ задачъ, кастетовъ и ребусовъ; въ предѣлахъ небольшой кучки первыхъ учениковъ было даже соперничество въ этомъ спортѣ, — кто лучше выразится по-латыни или лучше переведетъ Цезаря. Для начала это неплохо; но въ томъ то и бѣда, что въ огромномъ большинствѣ нашихъ гимназій, если не во всѣхъ, это начало оставалось безъ продолженія. Увлекаться грамматическими упражненіями для мальчиковъ старше четвертаго класса становилось труднымъ и даже просто невозможнымъ. А между тѣмъ въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ школа дальше грамматическаго упражненія не шла. За 6 лѣтъ пребыванія въ классической гимназіи я что то не помню осмысленнаго чтенія писателей.

Въ гимназіи Креймана я былъ только три года и не знаю, какъ тамъ велось преподаваніе въ старшихъ классахъ, начиная съ V-го. Но отсутствіе смыслового чтенія древнихъ писателей является общимъ недостаткомъ толстовской гимназіи, для которой древній писатель былъ лишь предлогомъ для грамматическихъ упражненій. Читая классиковъ, ученики учились стилю: все ихъ вниманіе искусственно устремлялось на вопросъ, почему употреблена такая-то форма рѣчи, а не другая. Самая мысль писателя при этомъ забывалась. Да если бы о ней и помнили, задача растолковать ученикамъ какого-нибудь Тита Ливія, Өукидида или Тацита — не по плечу учителю средней руки: для этого, помимо знанія языка, требуется большое исто-

рическое и литературное образованіе. Неудивительно, что средній учитель дѣлалъ лишь то, что доступно ремесленнику, т. е. занимался оборотами рѣчи и оставлялъ мысли въ сторонѣ.

Нетрудно представить себѣ послѣдствія такого способа веденія дѣла. Помнится, въ гимназіи мы читали цѣлый годъ Ѳукидида, а въ теченіе другого года — діалогъ Лахесъ Платона. Но только въ студенческіе годы, когда я заинтересовался греческой философіей, а въ связи съ ней — греческой исторіей, я узналъ содержаніе діалога Лахесъ и открылъ, что въ произведеніи Ѳукидида идетъ рѣчь с Пелопонезской войнѣ. Все прочитанное для меня, какъ и для моихъ товарищей, было лишь безсвязнымъ собраніемъ словъ, предложеній и текстовъ, которые переводились и подвергались грамматическому разбору.

Недостатки грамматической школы у насъ въ Россіи являлись въ каррикатурномъ преувеличенномъ видѣ, благодаря вмѣшательству высшихъ соображеній политической мудрости въ школьное дѣло. Школа эта, по какому-то странному недоразумѣнію, считалась оплотомъ благонадежности. Предположеніе это могло возникнуть лишь постольку, поскольку древніе писатели читались *съ пропускомъ смысла.* Вѣдь эти самые древніе, которые должны были играть роль противоядія противъ революціоннаго духа времени, — полны прославленіемъ республиканскихъ доблестей и демократическихъ учрежденій; выраженіе ненависти къ тиранамъ у нихъ — ходячее общее мѣсто. Какъ ни мало удѣлялось въ нашихъ занятіяхъ мѣста смыслу писателей, мы все-же кое что слышали про Гармодія и Аристогитана: имена этихъ тираноубійцъ произносились учениками классической школы съ уваженіемъ.

Но это были лишь случайно удержанные памятью отрывки, — остатки какого-то содержанія древней культуры, которая въ общемъ оставалась намъ совершенно чуждою. Классическая школа угнетала своей безсодержательностью, своею пустою отвлеченностью.

И въ этой отвлеченности всякій школьникъ чувствовалъ *фальшь,* какую-то постороннюю ученію и потому безнравственную цѣль. Мальчиками одиннадцати-двѣнадцати лѣтъ мы уже чувствовали это вмѣшательство политики въ веденіе школы и изъ-за этого теряли къ ней уваженіе.

Въ гимназіи Креймана это вмѣшательство было очень замѣтно. Гимназія, которая, какъ сказано, дѣлала карьеру на классицизмѣ, отъ времени до времени устраивала парадные ученическіе спектакли на всѣхъ языкахъ, но непремѣнно съ какой-либо классической пьесой на какомъ-либо древнемъ языкѣ въ видѣ перваго номера. Помню, напримѣръ, парадное представленіе „Эдипа въ Колонѣ" Софокла на греческомъ языкѣ въ биткомъ набитомъ гостями актовомъ залѣ гимназіи, въ греческихъ костюмахъ, а послѣ „Эдипа" — русскую, французскую и нѣмецкую пьесы, разыгранныя учениками. Въ газетахъ послѣ этого фельетонисты писали про „вавилонское столпотвореніе въ классической гимназіи." Нечего и говорить о томъ, что на спектаклѣ, кромѣ родителей и учениковъ, присутствовали педагогическіе авторитеты и власти округа. Для нихъ именно устраивалась эта пышная демонстрація. Не знаю, какое впечатлѣніе она производила на постороннихъ зрителей; но для насъ-учениковъ — было ясно, что она устраивается напоказъ не только безъ пользы для дѣла, но съ явнымъ ущербомъ какъ для ученія, такъ и для школьной дисциплины. Помню безконечныя репетиціи греческаго хора, старательно разучивавшаго музыку Мендельсона, и столь же безконечныя репетиціи пьесъ. Ради этихъ репетицій ученики освобождались отъ уроковъ. Другіе, не участвовавшіе въ пьесахъ, бѣгали просто напросто глазѣть на репетиціи. Отвлекались отъ дѣла и учителя языковъ, ставившіе свои пьесы. Въ концѣ концовъ недѣли за двѣ до представленія, спектакль совсѣмъ забивалъ ученье. Помню, какъ подъ предлогомъ „репетицій" цѣлый классъ разбѣгался — кто поглазѣть

въ актовый залъ, кто просто прятался, и учитель, найдя свой классъ пустымъ, бѣгалъ по корридору, розыскивая своихъ учениковъ, торжественно приводилъ и водворялъ на мѣсто немногихъ случайныхъ пойманныхъ, а потомъ начиналъ „ученье“, которое не клеилось подъ доносящіеся издали звуки Мендельсона. Мы всѣ, конечно, были рады этой „свободѣ“, т. е. крушенію школьнаго порядка и возможности не готовить уроки. Но и помимо ущерба для ученія, результатъ этимъ достигался самый антипедагогическій. Отъ мала до велика мы всѣ отлично понимали, что мы обязаны нашей свободой школьной политикѣ Франца Ивановича, которому нужно во что бы то ни стало показать свой классическій *товаръ лицомъ* передъ начальствомъ и передъ высшимъ обществомъ Москвы. И въ душу закрадывались сомнѣнія въ самыхъ принципахъ и основахъ школы. Не знаю, какъ это случилося, но торжественный классическій спектакль въ гимназіи, съ пьесой, непонятной девяносто девяти процентамъ учениковъ, и нужный только *для начальства*, остался для меня на всю жизнь олицетвореніемъ самаго духа и сущности толстовской гимназіи.

Положимъ, не все тутъ можно относить на счетъ толстовской школы. Многое составляетъ индивидуальное свойство самого Франца Ивановича. Помню, какъ бывало онъ приходилъ въ нашъ разбушевавшійся четвертый классъ. Водворялась глубокая тишина. Францъ Ивановичъ покачивалъ головой, утюжилъ бакенбарды и торжественно произносилъ: „печчалльно четвертый классъ“—; потомъ—долгая пауза, шагъ впередъ, перстъ, подъятый въ воздухъ, и патетическій возгласъ фальцетомъ: „никакихъ стремленій нѣтъ“. А мы внутренно хохотали: не было между нами того мальчугана, который бы не чувствовалъ внутренней фальши этого паѳоса.

Францъ Ивановичъ вообще былъ актеромъ, который дѣлалъ вещи напоказъ; но школьная политика

того времени сдѣлала его *актеромъ классицизма*. Въ этомъ несомнѣнная вина толстовской тенденціи и *толстовской системы*.

Рядомъ съ „новыми вѣяніями“, демократическими и реакціонно классическими, намъ пришлось столкнуться въ гимназіи Креймана и съ остатками дореформеннаго быта добраго стараго времени. Былъ тамъ одинъ извѣстный педагогъ — учитель древнихъ языковъ, издававшій классиковъ и иныя учебныя книги для школъ — не то германецъ, не то чехъ, плохо говорившій по русски. Въ четвертомъ классѣ мнѣ съ братомъ пришлось учиться у него латинскому языку. Въ первое полугодіе онъ отнесся къ намъ необыкновенно ласково и ставилъ высокія отмѣтки. Во второмъ полугодіи, когда братъ остался одинъ въ классѣ (я былъ боленъ воспаленіемъ въ легкихъ), отношеніе къ нему педагога вдругъ рѣзко измѣнилось безъ всякихъ видимыхъ причинъ. Педагогъ систематически ставилъ двойки, топалъ ногами, кричалъ, бросалъ тетрадку брата на полъ. Весь классъ недоумѣвалъ, чѣмъ вызвано это явное преслѣдованіе. Мы разсказали объ этомъ старшему нашему брату Петру, учившемуся раньше у того же педагога въ одной изъ казенныхъ московскихъ гимназій, и дѣло выяснилось. Оказалось, что ровно то же произошло и съ братомъ Петромъ, но только съ характернымъ продолженіемъ. Когда ласковое обращеніе смѣнилось преслѣдованіемъ, дядюшка, у котораго жили дѣти отъ перваго брака моего отца, вступилъ въ объясненія съ педагогомъ. Тотъ ему сказалъ, что братъ „отсталъ отъ класса“, нуждается въ частныхъ урокахъ, и самъ взялся ихъ давать за плату, считавшуюся по тогдашнему времени высокою. „Уроки“ свелись къ чистой комедіи. Педагогъ приходилъ на домъ, шутилъ, болталъ съ братомъ минутъ десять и уходилъ, получая исправно деньги.

А братъ съ тѣхъ поръ сталъ „успѣвать“, т. е. получать хорошія отмѣтки. Мои родители не пожелали прибѣгнуть къ этому способу для насъ и предпочли

оставить насъ обоихъ на второй годъ въ четвертомъ классѣ, — меня по болѣзни, а брата Сергѣя за компанію. Потомъ уже намъ пришлось учиться у хорошихъ и вполнѣ порядочныхъ учителей. Вообще этотъ случай явнаго взяточничества — единственный, который мнѣ приходилось наблюдать за все время прохожденія мною гимназическаго курса. Разумѣется, гимназія Креймана не можетъ считаться отвѣтственной за продѣлки педагога, о которыхъ ея директоръ могъ не знать; но и помимо этого, она представляла собою мало привлекательнаго. Въ ней нашли себѣ выраженіе скорѣе отрицательныя, чѣмъ положительныя стороны тогдашняго школьнаго режима.

Калужская казенная гимназія, гдѣ я воспитывался съ V-го класса по VIII-й включительно — съ 1877 по 1881 годъ, оставила во мнѣ куда лучшее воспоминаніе.

Но прежде чѣмъ перейти къ этому періоду моей жизни, я хочу разсказать о нѣкоторыхъ моихъ внѣшкольныхъ переживаніяхъ въ Москвѣ съ 1874 по 1877-й годъ.

II. Музыкальная жизнь въ Москвѣ въ 1875—1877 годахъ.

Переходъ отъ дѣтства къ отрочеству, помимо поступленія въ школу, ознаменовался для меня съ братомъ двумя крупными событіями. Это было для насъ начало пробужденія музыкальнаго пониманія и начало пробужденія національнаго сознанія. Въ 1875 — 76 году мы начали посѣщенія симфоническихъ концертовъ, квартетныхъ собраній и консерваторскихъ спектаклей. А съ 1876 года мы съ братомъ были захвачены переживаніемъ той русско-славянской національной драмы, которая привела къ восточной войнѣ 1877 — 1878 года.

Не знаю, отчего эти два факта какъ-то неразрывно связались въ одно въ моихъ воспоминаніяхъ

— подъемъ музыкальный и подъемъ національный, — можетъ быть оттого, что русская музыка тогда была областью могучаго національнаго творчества. Въ то время уже гремѣла слава Чайковскаго, коего вещи исполнялись почти въ каждомъ концертѣ, и уже блистало созвѣздіе такъ называемой „могучей петербургской кучки“ — Римскаго-Корсакова, Бородина, Балакирева и Кюи.

Говорили и о Мусоргскомъ, но онъ тогда считался чѣмъ то вродѣ музыкальнаго Козьмы Пруткова — композиторомъ остроумнымъ и „забавнымъ“, но не серьезнымъ. Да и по отношенію къ „могучей кучкѣ“ не было большого пониманія. О Римскомъ-Корсаковѣ, который впослѣдствіи сталъ для меня олицетвореніемъ жизнерадостной русской сказки, старшіе вокругъ меня говорили, что онъ „серьезенъ, но скучноватъ“, а на Бородина, Балакирева и Кюи съ сомнѣніемъ покачивали головою.

Вся эта музыка казалась въ то время „черезчуръ радикальной“. За то Чайковскій царствовалъ, и всякое его появленіе на концертной эстрадѣ было бурнымъ ріумфомъ.

Помню, что его произведенія меня двѣнадцати — тринадцати лѣтняго не только увлекали, но прямотаки волновали. Я съ ранняго дѣтства слышалъ много классической музыки — Гайдна, Моцарта, Бетховена; мало того, уже въ дѣтствѣ я чувствовалъ эту музыку и по своему ее понималъ, насколько это было доступно ребенку. Но 12 — 13 лѣтъ мнѣ было стыдно признаться, что Чайковскаго я люблю еще больше. А это было такъ. И не одинъ я, маленькій мальчикъ, — въ то время и многіе изъ старшихъ совершенно такъ же любили Чайковскаго больше Бетховена и стыдились въ этомъ признаваться. Что это было за явленіе? Почему этотъ композиторъ, который теперь кажется намъ наполовину увядшимъ и осуждается почти всѣми до преувеличенія, въ то время такъ же преувеличенно восхищалъ?

Разбираясь въ воспоминаніяхъ моего отрочества, я чувствую, что увлеченье Чайковскимъ во мнѣ не было исключительно музыкальнымъ: онъ волновалъ мое *національное чувство.* Я любилъ его, какъ что-то родное, какъ поэтическое воспоминаніе о русской деревнѣ, о которой я—школьникъ—мечталъ въ теченіе долгихъ зимнихъ мѣсяцевъ.

Замѣчательно, что теперь даже съ этой точки зрѣнія Чайковскій меня не удовлетворяетъ; то, что воодушевляло меня въ отроческіе годы, какъ народное русское, теперь кажется мнѣ народничаньемъ, чѣмъ то поддѣльнымъ: музыкальное ухо нерѣдко оскорбляется вмѣшательствомъ италіанщины въ русскія мелодіи Чайковскаго.

И странное дѣло, эта полу-народная музыка въ то время совершенно заслоняла для меня подлинную народную мелодію Бородина и Римскаго-Корсакова. Происходило ли это отъ дѣтскаго непониманія? Нѣтъ, такъ же судили и такъ же чувствовали въ то время взрослые.

Тутъ былъ какой то общій недостатокъ и въ музыкальномъ воспріятіи, и въ воспріятіи родины, какая то *народническая фальшивая нота въ музыкѣ,* которую почти совершенно не слышало тогдашнее музыкальное ухо. Слышали ее лишь тѣ, непонятые тогда композиторы, которые возвели русскую музыку на болѣе высокую ступень творчества. Замѣчательно, что это народничанье, которое теперь разоблачено и которое раньше привлекало больше всего въ Чайковскомъ, составляетъ не положительную, а скорѣе отрицательную сторону его собственнаго творчества. Намъ продолжаютъ нравиться именно тѣ его произведенія, гдѣ нѣтъ этой претензіи на народность („Франческо да Римини", патетическая симфонія*). Можетъ быть, здѣсь кроется объясненіе преувеличеннаго разочарованія въ Чайковскомъ.

---

*) Въ видѣ примѣра прошу вспомнить пляску мужиковъ и другія „пейзанныя" мелодіи изъ „Евгенія Онѣгина" (хоръ дѣвушекъ).

Когда то русское общество, вмѣстѣ съ нимъ, отождествляло свое „стремленіе въ народъ“ съ самимъ народомъ, а теперь не можетъ простить ему собственныхъ своихъ юношескихъ увлеченій, которыя онъ слишкомъ ярко олицетворялъ! Сами не замѣчая, мы не любимъ его столько же за недостатки въ его музыкѣ, сколько за *сентиментально — слащавое воспріятіе русскаго народа.*

Общественныя и національныя переживанія оказываютъ безъ сомнѣнія огромное и *далеко не достаточно осознанное вліяніе* на музыкальное воспріятіе. Музыкальная душа приноситъ въ концертный залъ все то, чѣмъ она живетъ. И эти извнѣ принесенныя переживанія причудливо переплетаются съ музыкальною мелодіей. Иногда они дѣлаютъ душу воспріимчивой къ ней, а иногда, наоборотъ, заслоняютъ музыкальныя красоты. Высшія воспріятія, разумѣется, тѣ, въ которыхъ душа освобождается отъ рабства времени и отъ преходящихъ увлеченій, гдѣ она радуется сверхнародной, сверхвременной красотѣ.

Помню въ отроческіе мои годы минуты и часы этой *безотносительной* радости. Ими я всего больше обязанъ покойному Н. Г. Рубинштейну, который былъ въ тѣ дни душою, живымъ центромъ всего музыкальнаго дѣла въ Москвѣ. И не только Рубинштейнъ-піанистъ меня увлекалъ и уносилъ, но не въ меньшей степени — Рубинштейнъ - дирижеръ, истолкователь симфоній и оперъ. Я помню въ его исполненіи наполнявшія душу свѣтлой, дѣтской радостью симфоніи Гайдна. Эти были мнѣ *до дна* понятны. Помню и симфоніи Бетховена, которыя тогда были мнѣ менѣе понятны: ихъ глубина еще недоступна отроческимъ годамъ. Помню, наконецъ, захватившее меня цѣликомъ исполненіе нѣкоторыхъ оперъ на ученическихъ спектакляхъ въ консерваторіи, въ особенности исполненіе безсмертнаго „Фрейшюца“ Вебера — мнѣ было тогда двѣнадцать лѣтъ; съ тѣхъ поръ я никогда въ жизни не видалъ этой оперы. Но у меня остались въ памя-

ти каждая ея сцена, каждый ея звукъ. И это оттого, что я не только слышалъ, я въ теченіе цѣлаго года *переживалъ* эту оперу, благодаря тому, что я присутствовалъ не только на самомъ спектаклѣ, но и на многихъ ея репетиціяхъ. Я съ жадностью ловилъ всѣ замѣчанія Рубинштейна и потому зналъ не только какъ нужно, но и то, *какъ не нужно* исполнять „Фрейшюца". Едва ли что-нибудь можетъ болѣе способствовать музыкальному развитію, чѣмъ такія репетиціи подъ управленіемъ геніальнаго руководителя-дирижера и въ то же время режиссера. Помню, какъ въ его передачѣ увертюра воспроизводила таинственную жизнь лѣса съ отдаленными звуками охотничьяго рога — волторны. Помню, какъ въ звукахъ вставалъ передо мной во весь ростъ мрачный образъ „чернаго охотника", — лѣсного діавола-Самгеля. Помню мистическій ужасъ „Волчьей долины". Образы эти потомъ преслѣдовали меня днемъ и ночью, въ темной комнатѣ и особенно — въ лѣсной чащѣ, когда смеркнется: музыкальное воспоминаніе — источникъ сильнаго наслажденія — непосредственно переходило въ гнетущій ночной страхъ. Нужно было быть великимъ чародѣемъ искусства, чтобы такъ врѣзать въ дѣтскую душу этотъ музыкальный образъ ада и ту радость освобожденія отъ ада, которая звучитъ въ заключительномъ хорѣ „Фрейшюца"! Кто слышалъ эту оперу въ исполненіи Рубинштейна и въ особенности на его репетиціяхъ, тотъ потомъ, закрывши глаза, можетъ слышать ее въ теченіе всей своей жизни. Вотъ и сейчасъ на разстояніи сорока четырехъ лѣтъ, отдѣляющихъ меня отъ этого спектакля, я могу отдыхать отъ тяжелыхъ переживаній современной русской драмы, внутренно воспроизводя въ мысли и въ слухѣ эти глубокіе, таинственные звуки темнаго лѣса и эту радость объ озарившемъ жизнь послѣ пережитаго ада — солнечномъ лучѣ! Вотъ что значитъ *музыкальный подъемъ надъ временемъ*. Какъ безконечно благодарно должно быть наше поколѣніе тѣмъ, кто далъ намъ его почувствовать.

Этотъ подъемъ, уносившій меня въ дѣтствѣ, былъ въ то время общимъ. Это была какъ-разъ эпоха поразительныхъ и могучихъ завоеваній музыки въ Россіи. Когда я началъ посѣщать симфоническіе концерты въ Москвѣ, все было полно воспоминаній о томъ, какъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ Н. Г. Рубинштейнъ создавалъ огромное дѣло изъ ничего. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ еще не было симфоническаго оркестра: симфоніи тогда исполнялись на нѣсколькихъ рояляхъ.

Потомъ явился оркестръ и хоръ, но концерты вначалѣ были пусты. До того музыка была иноземной гостьей въ Россіи и была знакома русской публикѣ почти исключительно въ видѣ итальянской оперы. И вдругъ поразительное оживленіе: въ 1875 — 76 году, когда я началъ посѣщать концерты, начинавшіеся въ 9 ч. вечера, намъ приходилось пріѣзжать съ восьми вечера, чтобы имѣть возможность найти сидячее мѣсто въ залѣ. Позднѣе, въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, публика забиралась въ этотъ обширный залъ Дворянскаго Собранія уже съ 7 часовъ. Итальянская опера въ Императорскомъ Большомъ театрѣ въ то время доживала свои послѣдніе дни. Въ самомъ началѣ восьмидесятыхъ годовъ она была замѣнена оперой русской.

На этихъ концертахъ чувствовалась какая-то жизнерадостная атмосфера, особая легкость духа, которая позднѣе исчезла. Что это такое было? Достаточно вспомнить хронологію музыкальнаго движенія въ Россіи съ шестидесятыхъ по восьмидесятые годы, чтобы почувствовать его глубокую жизненную связь съ „эпохой великихъ реформъ". Раньше русскаго національнаго движенія въ музыкѣ не существовало. Былъ одинокій геній — Глинка, переросшій своихъ современниковъ на полстолѣтія, но они его не понимали: русская мелодія его „Руслана" оставалась имъ недоступной. Почему? Да потому, что тогдашнее культурное русское общество было отдѣлено отъ русской

народной пѣсни всею своею жизнью. И лишь немногимъ лучшимъ людямъ дано было видѣть, какъ живутъ и слышатъ, о чемъ поютъ по ту сторону перегородки, отдѣлявшей русское образованное общество отъ народа. Когда Тургеневъ въ своихъ „Пѣвцахъ" далъ почувствовать своимъ современникамъ, что такое русская народная пѣснь, это было для нихъ настоящимъ откровеніемъ.

Нужно ли удивляться, что въ шестидесятыхъ годахъ, когда перегородка рухнула, у русскаго національнаго творчества выросли крылья! Какъ не понять, что именно въ это время композиторы стали особенно чутки къ народной русской пѣснѣ, и что именно тогда одни изъ нихъ стали искать народъ, а другіе его нашли!

Эпохи національнаго подъема бываютъ вообще эпохами повышенной чуткости. Поэтому неудивительно, что въ то время усилилась воспріимчивость не только къ мелодіи національной, но и къ мелодіи міровой. Берліозъ и Вагнеръ, пріѣзжавшіе въ Москву въ серединѣ шестидесятыхъ годовъ, были удивлены и обрадованы тѣмъ сочувственнымъ откликомъ, который они тамъ встрѣтили. Они почувствовали вѣяніе духа жизни въ нашей духовной атмосферѣ.

Помню волнующій мигъ, когда музыкальная мелодія явно для всѣхъ сплелась съ мучительными національными переживаніями того времени.

Среди произведеній Чайковскаго есть одно, мало знакомое и въ особенности мало понятное современному русскому обществу — „Русско-Сербскій маршъ". Теперь слушатели отнеслись бы къ нему по меньшей мѣрѣ равнодушно. А между тѣмъ въ 1876 году оно вызвало цѣлую бурю восторга. Оно и не удивительно: Русско Сербскій маршъ представляетъ собою произведеніе полу-музыкальное, полу-публицистическое: въ немъ выразились теперь забытыя чаянія русскаго національнаго движенія того времени.

Въ тѣ дни мы всѣ отъ мала до велика съ напря-

женнымъ вниманіемъ и глубокимъ волненіемъ слѣдили за событіями на Балканскомъ полуостровѣ, гдѣ послѣ возстанія Босніи и Герцоговины Сербія и Черногорія вступили въ неравную вооруженную борьбу съ Турціей. Въ рядахъ сербовъ, предводительствуемыхъ русскимъ генераломъ Черняевымъ, сражались русскіе добровольцы; по всей Россіи, даже въ захолустныхъ деревушкахъ, собирались щедрыя пожертвованія въ пользу сербовъ.

Даже простой народъ, начавшій въ ту пору усиленно читать газеты, былъ взволнованъ борьбой православныхъ противъ „поганыхъ“. Я помню, какъ въ одной сельской церкви въ Области Войска Донского, послѣ проповѣди, гдѣ священникъ призывалъ народъ оказать помощь единовѣрцамъ-славянамъ, было собрано на моихъ глазахъ семьдесятъ пять рублей въ пользу сербовъ и черногорцевъ. И вотъ, когда стали получаться извѣстія о катастрофическомъ положеніи на фронтѣ,—русское общественное мнѣніе стало единодушно требовать вмѣшательства Россіи въ войну. Правительство на это долго не соглашалось, а цензура неоднократно пыталась принудить печать къ молчанію. И вотъ, какъ-разъ въ эту пору Чайковскому удалось высказать въ своемъ „Русско Сербскомъ маршѣ“ больше, чѣмъ можно было высказывать въ тогдашнихъ газетныхъ передовыхъ статьяхъ.

Маршъ начинается грустной славянской мелодіей; потомъ этотъ скорбный мотивъ угнетеннаго славянства смѣняется бойкимъ русскимъ маршемъ: это казаки и добровольцы идутъ на помощь. И въ самомъ концѣ марша въ видѣ пророчества раздаются побѣдные звуки русскаго національнаго гимна. Гвалтъ и ревъ, которые послѣ этого поднялись въ залѣ, не поддаются описанію. Вся публика поднялась на ноги; многіе повскакивали на стулья; къ крикамъ „браво“ примѣшивались крики „ура“. Маршъ заставили повторить, послѣ чего та же буря поднялась сызнова. Благодаря невозможности распространить цензуру на музыкальныя произведенія,

Чайковскому удалось устроить то, что казалось въ то время невозможнымъ, — внушительную общественную демонстрацію. Это была одна изъ самыхъ волнующихъ минутъ въ 1876 году. Въ залѣ многіе плакали! Это на моей памяти едва-ли не единственный концертъ, который получилъ значеніе политическаго событія.

III. Восточная война 1877—1878 года.

Намъ теперь трудно перенестись на точку зрѣнія русскаго общества въ 1876—1877 году, — до того тогдашняя политическая и общественная атмосфера была непохожа на современную. Это была атмосфера крестоваго похода въ буквальномъ смыслѣ слова, потому что война, о которой тогда мечтали и которой такъ рѣшительно требовали отъ правительства патріотически настроенные люди, была въ буквальномъ и точномъ смыслѣ слова войной креста противъ полумѣсяца. И этой мыслью о войнѣ жили всѣ отъ мала до велика. Мы, школьники четвертаго класса — прочитывали всѣ газеты, какія попадали въ руки. Мои родители получали цѣлыхъ двѣ газеты — „Московскія Вѣдомости“ и издававшійся въ Петербургѣ „Голосъ“. Но мнѣ этого показалось мало, и я истратилъ свой собственный рубль, чтобы подписаться, хотя бы на одинъ мѣсяцъ, на патріотическую газету „Русскій Міръ“. Между нами — мальчуганами — война была всепоглощающей, единственной темой, вокругъ которой вращались всѣ разговоры. Статьи и рѣчи Ив. С. Аксакова въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда онѣ печатались, были и у насъ главными событіями дня; а мысль о водруженіи Креста на храмъ Св. Софіи была одной изъ самыхъ популярныхъ въ школѣ. Съ волненіемъ и раздраженіемъ обсуждали мы въ антрактахъ между уроками дѣйствія правительства, негодовали противъ „дипломатовъ“ за ихъ антинаціональную „петербургскую“ политику и за ихъ стремленіе сдержать порывъ народ-

наго чувства. Александръ II былъ въ то время весьма любимъ во всѣхъ слояхъ русскаго общества; но его колебанія и уступки западнымъ недоброжелателямъ Россіи — австрійцамъ и англичанамъ — порою вызывали и во взрослыхъ и въ насъ — дѣтяхъ движеніе нетерпѣнія. Когда, наконецъ, турки были остановлены въ своемъ движеніи на Бѣлградъ ультиматумомъ императора Александра II, наступили дни всеобщаго ликованія. Русское общество, вынудившее Царя къ этому шагу вопреки его волѣ и въ особенности вопреки желанію правительства, торжествовало побѣду. И мы дѣти тоже радостно чувствовали, что одержана большая побѣда, *наша* побѣда. Когда Государь явился въ Москву и произнесъ въ кремлевскомъ дворцѣ свою знаменитую рѣчь съ фразой: „я самъ москвичъ и горжусь Москвой", не только присутствующіе были потрясены до слезъ. Я помню, какъ радостныя слезы вызывались самымъ чтеніемъ рѣчи. Тутъ были и умиленіе и чувство національной гордости: послѣ долгихъ униженій Россіи было, наконецъ, удовлетворено чувство національнаго достоинства.

Тогда не было того раздвоенія въ образованномъ русскомъ обществѣ, которое сказалось такъ рѣзко въ дни японской войны, — „пораженцевъ" не было вовсе; объ „интернаціоналистахъ" тоже еще не было слышно. Была только немногочисленная группа такъ называемыхъ „петербургскихъ космополитовъ" изъ аристократіи и сановниковъ, не хотѣвшихъ войны; къ нимъ густая масса русскаго общества относилась стихійно враждебно. Сомнѣнія въ патріотизмѣ Россіи и въ особенности въ патріотизмѣ простого русскаго народа въ то время не возникали; наоборотъ, идеализація русскаго мужика и русскаго солдата въ то время доходила до той степени преклоненія, которую теперь даже трудно себѣ представить. Простой народъ считался тогда главнымъ носителемъ, первоисточникомъ патріотизма, а отсутствіе патріотизма, согласно славянофильской формулѣ, признавалось грѣхомъ людей, „отор-

ванныхъ отъ народа". Конечно, было не мало иллюзій въ этомъ настроенiи, но единодушiе было поразительное.

Оно стало еще единодушнѣе, когда началась война, всѣми давно желанная. Чтенiе Высочайшаго манифеста объ объявленiи войны Турцiи — одно изъ самыхъ значительныхъ моихъ переживанiй за всю мою жизнь. Мнѣ было тогда всего тринадцать лѣтъ, но ощущать Россiю всѣмъ существомъ съ такой силой, какъ я ощущалъ ее тогда, мнѣ пришлось потомъ всего только одинъ разъ въ жизни — въ 1914 году, въ началѣ великой европейской войны. Помню, какъ мы съ братомъ Сергѣемъ тщетно усиливались тогда проникнуть въ Успенскiй соборъ. Я былъ такъ притиснутъ толпой къ стѣнѣ, что чуть не лишился чувствъ. Я едва дышалъ. Мнѣ казалось: вотъ еще минута, и я упаду. Но надо мною на синемъ фонѣ весенняго неба горѣли золотыя главы соборовъ, и раздавался тотъ глубокiй басъ колокола Ивана Великаго, отъ котораго пробѣгаетъ морозъ по кожѣ и дребезжатъ стекла въ окнахъ. И я чувствовалъ: вотъ торжество высшей Божьей правды, которую призвана осуществить на землѣ Россiя! Что жъ изъ того, что вотъ сейчасъ меня раздавятъ, и меня уже больше не будетъ. Развѣ не счастье умереть въ такую минуту!

Въ Успенскiй соборъ такъ и не удалось проникнуть, и мнѣ пришлось выслушать манифестъ въ Архангельскомъ соборѣ. Но я до сихъ поръ не знаю, проигралъ я отъ этого или выигралъ. Помню то сильное впечатлѣнiе, какое произвели на меня въ эту минуту собранныя въ соборѣ гробницы Московскихъ Царей. Словно въ ихъ лицѣ всѣ умершiя раньше поколѣнiя, вся русская старина прiобщалась къ великому дѣлу Россiи современной. И всѣ поколѣнiя объединены подъ церковнымъ сводомъ въ мысли и торжествѣ Креста, которому должна служить Россiя, освобождая отъ растерзанiя христiанскiе народы во имя Христово! Чувство преемственной связи поколѣнiй, сознанье един-

ства Россіи старой и новой въ Церкви и черезъ Церковь, — вотъ что чувствовалось въ эту великую минуту, вотъ о чемъ гудѣлъ на весь міръ соборный колоколъ, которому вторилъ въ храмѣ густой басъ дьякона, читавшаго манифестъ! Съ тѣхъ поръ всякій разъ, когда я слышу звукъ этого колокола, во мнѣ воскресаетъ сознаніе нерушимаго единства мертвыхъ и живыхъ, единства Россіи въ Церкви и черезъ Церковь. Чувство это пробуждается всегда при видѣ московскихъ соборовъ; но особенно сильно захватываетъ оно во время пасхальной утрени и въ дни великихъ историческихъ минутъ народной жизни. И теперь, созерцая умомъ издалека эти соборы, сейчасъ занятые и оскверняемые хулителями изъ латышей и евреевъ, испытываешь то же ощущеніе *неумирающей жизни*, какъ и въ прежніе счастливые дни, когда Россія была велика, едина и свободна. *Та Россія, которая вѣками сознавала и утверждала свое единство подъ сѣнью этихъ храмовъ, не можетъ умереть*! И каковы бы ни были издѣвательства хулителей, каковы бы ни были впереди испытанія и препятствія, *эта* Россія воскреснетъ! Она жила и будетъ жить для вѣчности!

Впослѣдствіи, въ дни религіознаго охлажденія, намъ стала мало понятна духовная атмосфера прежнихъ восточныхъ войнъ. Въ дни міровой войны мы слышали преимущественно разсужденія о стратегической и экономической необходимости завоеванія проливовъ для Россіи. Потомъ, въ дни революціи, этимъ воспользовалась революціонная пропаганда, которая успѣла внушить народнымъ массамъ мысль о чисто имперіалистическихъ побужденіяхъ нашей войны съ Турціей. Не то было въ 1876—1877 году: тогда о какихъ-либо матеріальныхъ выгодахъ для Россіи не было рѣчи ни въ лагерѣ сторонниковъ, ни въ лагерѣ противниковъ войны. Освобожденіе единовѣрныхъ и родственныхъ намъ по крови народовъ изъ подъ мусульманскаго ига выдвигалось, какъ единственная цѣль

войны. Территоріальныя пріобрѣтенія, сдѣланныя впослѣдствіи, были *результатомъ* военныхъ успѣховъ, но отнюдь не цѣлью военныхъ дѣйствій. Война была отъ начала до конца *безкорыстной, романтическою.* Ея побужденія будутъ болѣе понятными теперь поколѣнію, пережившему великое религіозное движеніе, вызванное революціей. И только тогда, когда мы поймемъ и почувствуемъ эти побужденія, Россія вновь станетъ Россіей: ея національное единство держится исключительно той духовной связью, которая связываетъ преемственный рядъ поколѣній. Революція наглядно показала, что забвенье этой связи влечетъ за собой утрату родины: вотъ почему теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, необходимо о ней вспомнить!

Въ моихъ отроческихъ воспоминаніяхъ вся война 1877-1878 года окрашивается тѣми переживаніями, которыя мнѣ дано было испытать въ Кремлѣ, при чтеніи манифеста. Отъ начала и до конца она была проявленіемъ крѣпкаго національнаго единства. Тогда не было и тѣни тѣхъ взаимныхъ подозрѣній, которыя теперь отравляютъ отношенія между классами. Наоборотъ, это была эпоха небывалаго сближенія между образованными классами и народомъ: была твердая почва для общенія, былъ и общій языкъ для взаимнаго пониманія. Оно и понятно: *цѣль войны* — освобожденіе *своихъ православныхъ* отъ иновѣрныхъ мучителей — была непосредственно понятна народнымъ массамъ, а потому всякій образованный человѣкъ, который говорилъ съ простымъ крестьяниномъ и солдатомъ на эту тему, былъ для него *свой.* Этимъ объясняется и тотъ фактъ, что русскій солдатъ въ то время дѣлалъ чудеса, которыя послѣ этого, къ сожалѣнію, не повторялись. Изъ всѣхъ описаній военныхъ дѣйствій подъ Плевной, на Шипкѣ и въ особенности зимняго перехода черезъ Балканы, мнѣ врѣзалась въ память одна черта: всѣ описывавшіе свидѣтельствовали, что солдаты и офицеры были тогда *одно.* Общія страданія и лишенія не вызывали ни ропота, ни

взаимныхъ подозрѣній, не отталкивали ихъ другъ отъ друга, а, наоборотъ, сближали. И это потому, что не было сомнѣній въ правдѣ и святости того общаго дѣла, которому служили тѣ и другіе. А между тѣмъ въ тѣ дни, когда интендантство одѣвало солдатъ куда хуже, чѣмъ теперь, и кормило ихъ гнилымъ мясомъ, да червивыми сухарями, сколько было поводовъ обвинять власть въ предательствѣ! Къ какимъ только подозрѣніямъ не давали повода тяжелыя неудачи въ началѣ войны, вызванныя плохой организаціей и непростительными ошибками начальства, совершенно не знавшаго силъ противника. Но патріотизмъ солдата и офицера выдержалъ тогда самыя тяжкія испытанія, потому что онъ утверждался на крѣпкой духовной основѣ!

Настроеніе фронта находилось въ полномъ соотвѣтствіи съ настроеніемъ тыла. Въ началѣ войны я наблюдалъ это настроеніе въ Москвѣ, потомъ въ деревнѣ въ Московской губерніи, потомъ въ Калугѣ, гдѣ, вслѣдствіе переѣзда туда моей семьи, я поступилъ въ гимназію съ осени 1877 года. И за весь годъ войны я не помню ни одного проявленія той деморализаціи, которая замѣчалась въ дни войны японской или въ дни нашихъ неудачъ во время великой европейской войны. Я помню энтузіазмъ въ началѣ войны, когда въ городахъ и деревняхъ жадно ловили извѣстія, восторженно привѣтствуя всякій геройскій подвигъ и устраивая тріумфальныя встрѣчи поѣздамъ съ ранеными. Потомъ я вспоминаю минуты тяжкой скорби и мучительной тревоги во время плевненскихъ неудачъ и шипкинскихъ дней, когда, казалось, русская армія находится на волоскѣ отъ гибели. Одни молились, другіе приходили въ ярость, говоря о преступномъ легкомысліи властей, третьи безмолвно и тихо страдали. И всѣ, кто могъ, жертвовали и помогали устройству санитарной помощи. Словомъ, это было то настроеніе, которое всѣмъ намъ такъ знакомо по 1914 году. Но той апатіи и индифферентизма, кото-

рые замѣчались въ болѣе позднія даты великой европейской войны, не было и слѣда. Все время чувствовалось бодрое настроеніе молодой, свѣжей и крѣпкой націи, которая не слишкомъ довѣряетъ своему правительству и даже, по русскому обычаю, отчасти его критикуетъ, но за то полна вѣры въ себя и въ свое будущее.

Деморализація пришла уже потомъ, *послѣ окончанія* побѣдоносной войны, когда побѣдоносныя войска наши были остановлены у воротъ Константинополя враждебнымъ намъ вмѣшательствомъ Англіи и Австріи, которое грозило уничтожить всѣ результаты нашихъ побѣдъ! Тогда русское общество не могло простить Александру II ому, зачѣмъ онъ внялъ этимъ угрозамъ. Его обвиняли въ малодушіи и безхарактерности. Осуждали и великаго князя главнокомандующаго, который, по мнѣнію многихъ, долженъ былъ дерзнуть, ослушаться приказа и на свой страхъ и рискъ войти въ Константинополь. Деморализація достигла крайняго предѣла, когда малярія и тифъ во время стоянки въ Санъ-Стефано, у воротъ Константинополя, стали косить больше жертвъ, чѣмъ непріятельское оружіе во время войны, и въ это время Россія пошла на судъ передъ ареопагомъ великихъ державъ, собравшихся на Берлинскій конгрессъ. Деморализація была вызвана миромъ, а не войною.

И все-таки, даже послѣ заключенія мира, я помню минуты свѣтлаго подъема. Это было при встрѣчѣ побѣдоносныхъ войскъ, возвращавшихся въ Россію изъ Турціи. Вспоминается мнѣ, напримѣръ, день торжественнаго вступленія Кіевскаго Гренадерскаго полка на постоянную стоянку въ городъ Калугу. Весь городъ высыпалъ ему навстрѣчу. Въ учебныхъ заведеніяхъ были отмѣнены уроки; и наша гимназія въ полномъ составѣ двинулась на площадь, гдѣ происходилъ полковой парадъ. Потомъ съ утра до вечера на улицахъ шелъ народный праздникъ, закончившійся иллюминаціей. Гостей поили, кормили, качали, кричали имъ

„ура“ при каждой встрѣчѣ. Помню, какъ мы — гимназисты — въ этотъ день гордились „плевненскими героями“: Кіевскій полкъ принадлежалъ какъ разъ къ той славной второй гренадерской дивизіи, которая играла главную роль при взятіи Плевны.

Среди молодежи въ то время не было и слѣда тѣхъ антимилитаристическихъ теченій, которыя потомъ отравили не только наши университеты, но и гимназіи. Мы всѣ были объединены чувствомъ восторга и благоговѣнія передъ великимъ ратнымъ подвигомъ русскаго солдата и офицера. Словомъ, и въ побѣдахъ своихъ, и въ неудачахъ и разочарованіяхъ, въ мирѣ, какъ и въ войнѣ, Россія все-таки чувствовалась нами, какъ *единая* и притомъ *великая* нація. Національное чувство тогда ничѣмъ не было оскорблено или унижено. Испытанія, какъ и побѣда, только усиливали внутреннее объединеніе. Съ тѣхъ поръ за всю мою жизнь я не помню столь безграничнаго и радостнаго ощущенія *національнаго здоровья*. Куда оно дѣвалось потомъ? Какъ могла зародиться и развиться въ послѣдующія десятилѣтія та роковая болѣзнь, которая теперь разрушила Россію? Увы, первые признаки этой болѣзни стали сказываться почти тотчасъ вслѣдъ за окончаніемъ войны. Но объ этомъ придется говорить уже въ послѣдующихъ частяхъ этихъ воспоминаній.

IV. Гимназическіе годы въ Калугѣ.

Вслѣдствіе разстройства дѣлъ моего отца, онъ вынужденъ былъ искать службы въ провинціи и въ 1876 году былъ назначенъ вице-губернаторомъ въ Калугу. Это и было причиною нашего общаго туда переѣзда, который состоялся осенью 1877 года.

Уже во второмъ полугодіи 1876 — 77 года мы съ братомъ покинули гимназію Креймана и стали готовиться подъ руководствомъ приходящихъ на домъ учителей къ экзамену въ казенную калужскую гим-

назію. Весной мы выдержали экзаменъ въ пятый классъ и осенью туда поступили. Съ этой минуты начинается новый періодъ нашей школьной жизни, о которомъ я вспоминаю съ несравненно большимъ удовольствіемъ, чѣмъ о гимназіи Креймана.

Весь духъ школы былъ здѣсь совсѣмъ другой, чѣмъ тамъ. Недостатки толстовской гимназіи, конечно, чувствовались и здѣсь, но, по сравненію съ гимназіей Креймана, въ значительно смягченной формѣ. Здѣсь въ Калугѣ были нѣкоторые учителя — чиновники. Чиновниками были въ частности директоръ и инспекторъ, хотя оба были въ сущности не дурные люди. Но въ калужской гимназіи не было карьеристовъ. Странное дѣло, въ отличіе отъ *частной* гимназіи Креймана, — въ этой *казенной* гимназіи никто не дѣлалъ карьеры на классицизмѣ, а потому и всѣ отношенія были проще и естественнѣе. Въ нихъ не только не было фальши; напротивъ, въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ учителей была та сердечная теплота, благодаря которой и по выходѣ нашемъ изъ гимназіи между нами сохранилась тѣсная духовная связь до самой ихъ смерти. Я имѣю въ виду въ особенности учителя древнихъ языковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ нашего класснаго наставника — Емельяна Ивановича Городскаго и нашего законоучителя — протоіерея Александра Ивановича Ростиславова.

Первый — галичанинъ, уніатъ, обратившійся въ православіе, былъ человѣкъ совершенно исключительной доброты; онъ горячо привязался къ нашему классу, который ему пришлось вести вплоть до окончанія гимназическаго курса, быть нашимъ ходатаемъ во всякія трудныя минуты жизни, горой стоялъ за насъ, когда намъ грозило какое-либо суровое наказаніе, но при этомъ совершенно не подозрѣвалъ обо всѣхъ нашихъ школьническихъ продѣлкахъ и безгранично намъ вѣрилъ въ безпредѣльной наивности своей чистой души. И надо отдать намъ справедливость, — мы всячески злоупотребляли этимъ довѣріемъ.

Захочется, бывало, кому-нибудь уйти домой до окончанія урока, Емельянъ Ивановичъ всегда вѣритъ выдуманной болѣзни; мнѣ однажды случилось лежать у него на урокѣ. Меня закрывала парта, и я думалъ, что останусь незамѣченнымъ. Но Емельянъ Ивановичъ увидалъ и заволновался. „То что съ Вами, Трубецкой. А — а, онъ боленъ, шатается, пойдите домой, ложитесь въ кроватъ сейчасъ". Я не заставилъ себѣ повторять два раза этого приглашенія и съ радостью пошелъ домой, хотя былъ совершенно здоровъ. Въ другой разъ на письменномъ латинскомъ экзаменѣ надзиравшій за нами учитель замѣтилъ, что я черезчуръ усердно поглядываю въ тетрадь сосѣда и отсадилъ меня на каѳедру. Узнавъ объ этомъ, Городскій негодовалъ на педагога. „То оскорбилъ подозрѣніемъ Трубецкого". Бѣдный! Онъ не зналъ, что въ его классѣ только лѣнивый не списываетъ у товарищей.

Шуму и шалостей въ классѣ у него было сколько угодно; это его утомляло, потому что онъ страдалъ чахоткой и всегда мучительно кашлялъ. Но къ „мѣрамъ строгости" онъ былъ рѣшительно неспособенъ. Я отличался особенно безпокойнымъ нравомъ, но тѣмъ не менѣе былъ очень имъ любимъ. Какъ то разъ я долго отсутствовалъ по болѣзни, а потомъ, явившись въ классъ, съ мѣста началъ шумѣть. „А, то Трубецкой пришелъ, то опять начнутся безобразія",— жалобно произнесъ Емельянъ Ивановичъ и закашлялъ. Я устыдился и затихъ. Только этой добротой онъ насъ и держалъ: совѣстно было утомлять больного, и былъ нѣкоторый страхъ „подвести Емельяна передъ начальствомъ" чрезмѣрнымъ шумомъ, какъ говорили у насъ въ классѣ. И чѣмъ больше мы выростали, тѣмъ бережнѣе къ нему относились. Какъ то разъ, болтая съ нами между уроками, онъ проговорился, что „мечта его жизни — имѣть альбомъ съ музыкой". Эта мысль намъ запала. И вотъ, окончивъ экзаменъ зрѣлости, мы явились къ нему всѣмъ классомъ и подарили аль-

бомъ съ фотографическими карточками. Когда, вдругъ, изъ альбома раздалась музыка. Емельянъ Ивановичъ былъ такъ растроганъ, что не могъ сказать ни единаго слова, убѣжалъ въ другую комнату и расплакался.

Какъ педагогъ, онъ отличался совершенно исключительною по тогдашнему времени чертою: онъ не любилъ грамматики и никогда ее не спрашивалъ, обращая вниманіе исключительно на практическое умѣнье читать классиковъ и переводить съ русскаго на древніе языки. Иначе говоря, онъ пренебрегалъ именно тѣмъ, на чемъ тогда дѣлали карьеру. Не знаю, какъ это случилось, но мы у него въ самомъ дѣлѣ недурно переводили писателей, даже экспромтомъ. Я говорю — „не знаю какъ", потому что готовилъ у него урокъ только тотъ, кто хотѣлъ. Бывало кто — нибудь одинъ приготовитъ дома классика, а потомъ передъ урокомъ прочтетъ его и переведетъ вслухъ товарищамъ. Съ этимъ мы и выходили отвѣчать урокъ. И отвѣчали ничего, благополучно. Отъ времени до времени, впрочемъ, каждый дѣлалъ переводъ самостоятельно, такъ что умѣли переводить *всѣ*. Когда во мнѣ пробудился интересъ къ греческой философіи, оказалось, что я достаточно подготовленъ къ тому, чтобы читать Платона и Аристотеля по гречески (конечно, съ помощью „нѣмца" въ трудныхъ мѣстахъ), а по-латыни читалъ даже совсѣмъ свободно. И это несмотря на то, что Емельянъ Ивановичъ „не спрашивалъ грамматики." Явное доказательство того, до чего ходячее въ то время увлеченіе ею было преувеличено. Но все таки и безъ грамматики чтеніе классиковъ въ томъ видѣ, въ какомъ оно производилось у насъ, было занятіемъ довольно-таки никчемнымъ: *смыслъ* прочитаннаго всетаки пропускался. И это не потому, чтобы этого хотѣлъ Емельянъ Ивановичъ. Но задача — проникнуть въ смыслъ древней литературы была не по силамъ ни ему, ни кому либо вообще изъ тѣхъ *среднихъ* педагоговъ, которые въ гимназіяхъ составляютъ подавляющее большинство. Все, что онъ могъ дать, онъ

далъ, — умѣнье переводить классиковъ и даже читать довольно свободно. Но какая уйма времени тратилась въ тогдашней классической гимназіи, чтобы достигнуть только этого. Я не только не сомнѣваюсь въ томъ, что можно добиться тѣхъ же результатовъ въ гораздо меньшій срокъ, я имѣю на это наглядное доказательство.

Перейдя въ VI классъ гимназіи, я заболѣлъ серьезно кровохарканіемъ; и родители мои, опасаясь чахотки, взяли меня домой на отдыхъ, намѣреваясь оставить меня на второй годъ: поэтому учителей для меня они не пригласили. Но мысль объ оставленіи на второй годъ настолько мнѣ претила, что я сталъ заниматься, дѣлая всѣ тѣ приготовленія, которыя задавались въ классѣ моему брату. На весь гимназическій курсъ я тратилъ *ровно три часа въ день*, переводилъ самостоятельно и даже письменно всѣхъ классиковъ, которые читались въ моемъ классѣ. Товарищи, поддерживавшіе со мною отношенія черезъ брата, даже пользовались моими переводами. Въ результатѣ мои занятія сократились на цѣлыхъ *пять часовъ*, такъ какъ обыкновенно ученикъ просиживаетъ пять часовъ въ классѣ, а затѣмъ еще часа три готовитъ уроки. И въ концѣ концовъ весною 1879 года я выдержалъ экзаменъ въ седьмой классъ на однѣхъ пятеркахъ. Останься я въ гимназіи, я былъ бы подготовленъ куда хуже, въ виду гимназическаго обычая — работать по древнимъ языкамъ несамостоятельно!

Главная масса времени тратилась совершенно непроизводительно на древніе языки; прочіе предметы были въ загонѣ, а между тѣмъ многіе другіе предметы давали для развитія значительно больше, особенно когда учителя были съ огонькомъ.

Я упомянулъ здѣсь имя протоіерея А. И. Ростиславова. Это былъ человѣкъ, который дѣйствительно дѣлалъ свое дѣло съ любовью и увлеченьемъ, необыкновенно талантливо и живо разсказывалъ, въ особенности церковную исторію, въ которой былъ весь-

ма начитанъ. Къ сожалѣнію, я не извлекъ изъ его уроковъ всего, что могъ, потому что въ VI и VII классѣ продѣлывалъ мой нигилистическій періодъ, который въ VIII классѣ закончился. Но все-таки я достаточно его слушалъ, чтобы имѣть возможность оцѣнить рѣдкую свѣжесть ума и горячность души этого человѣка, всегда воодушевлявшагося разсказомъ, сколько бы разъ не приходилось разсказывать. И этимъ онъ увлекалъ классъ. Съ учениками у него также нерѣдко устанавливались сердечныя отношенія, тѣмъ болѣе, что онъ былъ любимый духовникъ тѣхъ, которые сохранили вѣру. Въ этомъ качествѣ я узналъ его ближе, когда я возвратился къ вѣрѣ. Наши отношенія продолжались даже по окончаніи университетскаго курса. Уже въ то время, когда, будучи кандидатомъ правъ, я отбывалъ воинскую повинность далеко отъ Калуги за городомъ, я былъ несказанно тронутъ посѣщеніемъ батюшки Ростиславова, который пришелъ туда навѣстить меня пѣшкомъ.

Вспоминая калужскую гимназію на разстояніи сорока съ лишнимъ лѣтъ, я вообще удивляюсь тому, какія силы были у насъ тогда въ захолустной провинціальной школѣ. Былъ у насъ тамъ, напримѣръ, совсѣмъ не заурядный учитель русскаго языка — Владиміръ Алексѣевичъ Яковлевъ, который преподавалъ намъ исторію словесности въ пятомъ классѣ. Онъ далъ намъ всѣмъ, а въ частности мнѣ — сильный толчокъ ко вдумчивому чтенію русскихъ поэтовъ. А его бесѣды въ классѣ по поводу нашихъ русскихъ сочиненій болѣе, чѣмъ какіе-либо другіе уроки, двигали наше умственное развитіе. Онъ имѣлъ обыкновеніе заставлять прочитывать вслухъ какое-либо одно изъ написанныхъ на заданную тему сочиненій, сопровождая чтеніе разборомъ, за которымъ съ живымъ интересомъ слѣдилъ весь классъ, послѣ чего дѣлалъ замѣчанія о каждомъ изъ нашихъ сочиненій въ отдѣльности. Мы всѣ очень многому научились изъ этихъ замѣчаній относительно того, какъ надо и какъ не надо

писать. А ожиданіе, что сочиненіе можетъ быть прочитано вслухъ передъ классомъ, вызывало соревнованіе и побуждало къ удвоенному старанію. Всякому хотѣлось „не ударить лицомъ въ грязь передъ классомъ"; чтеніе сочиненій ожидалось съ волненіемъ, тѣмъ болѣе, что замѣчаніямъ Владиміра Алексѣевича всѣ очень вѣрили.

Къ сожалѣнію, не везло въ то время выдающимся людямъ въ педагогической средѣ. Чиновниковатый директоръ, привыкшій царствовать въ педагогическомъ совѣтѣ гимназіи, не любилъ Яковлева за самостоятельность, а подчасъ и рѣзкость сужденій и жаловался на него начальству. Начальство „для блага службы" перевело Яковлева въ какой-то уѣздный городъ, а онъ „для блага службы" подалъ въ отставку. Для насъ это была невознаградимая потеря, и три старшихъ класса послали Яковлеву прочувствованный адресъ. Ему же эта отставка послужила на пользу: она ускорила его приготовленіе къ магистерскому экзамену, которое раньше откладывалось имъ въ долгій ящикъ; въ непродолжительномъ времени онъ занялъ каѳедру въ одномъ изъ нашихъ южныхъ университетовъ, кажется, въ Новороссійскомъ. Не поладилъ съ начальствомъ и былъ переведенъ въ уѣздное захолустье и любимый нами Городскій. Но это случилось уже по выходѣ нашемъ изъ гимназіи.

Преподаваніе математики въ Калужской гимназіи также было поставлено очень хорошо. Въ нашемъ классѣ былъ превосходный и очень знающій преподаватель — математикъ, полякъ — Юліанъ Станиславовичъ Козляновскій, умѣвшій заставлять насъ работать. Такіе преподаватели, какъ онъ, Яковлевъ и Ростиславовъ, — сдѣлали бы честь любой гимназіи. Если эти люди не дали намъ всего, что по своимъ личнымъ качествамъ они могли бы дать, — виноваты въ этомъ не они, а тѣ общія условія русской школы и русской жизни, которыя парализовали ихъ усилія, а Яковлева прямо — таки вышвырнули за бортъ. Но прежде, чѣмъ

перейти къ этимъ общимъ условіямъ, я долженъ дать здѣсь еще одну характеристику.

Во всѣхъ классахъ и по всѣмъ предметамъ мы такъ или иначе, съ грѣхомъ пополамъ, учились. Но былъ одинъ предметъ, по которому мы, начиная съ V-го, по VIII-ой классъ рѣшительно ничего не дѣлали.

Это былъ французскій языкъ. У насъ не было обычая даже брать съ собой французскія учебныя книги въ классъ. Никто никогда не зналъ даже, что намъ задано: я даже не помню, задавались ли намъ когда-нибудь какія-либо приготовленія по французскому языку. Это было возможно частью благодаря своеобразному отношенію толстовской гимназіи къ новымъ языкамъ, частью же благодаря личности преподавателя. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Бидо, такъ звали нашего швейцарца учителя, не любилъ занятій, и весь урокъ его сводился къ разговорамъ съ нами. „Я нахожу, что съ молодежь надо бить снисходительно“, говаривалъ онъ въ оправданіе своего образа дѣйствій. И урокъ превращался въ балаганъ, несмотря на почтенный видъ старца преподавателя. Когда мы у него лежали въ классѣ, онъ предлагалъ подушку: „monsieur, voulez vous un coussin?“ Доходило до того, что къ нему являлись въ классъ съ намалеванными на мундирѣ орденами. Когда же безобразіе становилось слишкомъ шумнымъ, онъ говорилъ: „тише, господа, сейчасъ инспекторъ придетъ“.

Однажды на его урокѣ случился анекдотъ, ярко характеризующій бытъ тогдашней провинціальной гимназіи. Братъ мой, любившій балагурить, завелъ съ Бидо разговоръ о Швейцаріи „зачѣмъ у васъ тамъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, Монбланъ стоитъ, только дорогу преграждаетъ: никому отъ него ни прохода, ни проѣзда, вѣдь это безпорядокъ! Вотъ до чего доводитъ республиканскій образъ правленія. То-ли дѣло у насъ: кабы завелся въ Россіи гдѣ-либо эдакій Монбланъ, тотчасъ исправникъ, либо губернаторъ распорядился бы убрать его прочь съ дороги: и ни-

какого Монблана бы не было". Өедоръ Өедоровичъ заступился за свою родину: „нитшево ви не понимайтъ, у насъ порядокъ больши Вашъ". Мы, разумѣется, тотчасъ забыли объ этомъ разговорѣ въ числѣ множества другихъ, ему подобныхъ, если бы не разыгравшееся по его поводу „событіе". На слѣдующій урокъ Бидо пришелъ мрачный и гнѣвно потребовалъ книгъ для занятій. „Что Вы, Өедоръ Өедоровичъ", отвѣчали мы ему, „вѣдь книгъ у насъ который годъ въ заводѣ нѣтъ; да что же случилось, наконецъ?" „Случилось то, — что послѣ прошлаго урока наши отношенія должны рѣзко измѣниться. Въ первый разъ въ жизни я на старости лѣтъ подвергся изъза Васъ выговору. Нѣтъ, я больше не могу имѣть къ Вамъ довѣрія." И Бидо разсказалъ, въ чемъ дѣло. Оказалось, что кто-то изъ родителей, услышавъ о происходившемъ у насъ въ классѣ разговорѣ, пожаловался директору. Директоръ вызвалъ старика и сдѣлалъ ему форменный разносъ. „Я понимаю" — сказалъ онъ, „что Вы, какъ швейцарскій гражданинъ, можете держаться республиканскаго образа мыслей; но до свѣдѣнія моего дошло, что Вы ведете съ учениками въ классѣ недопустимыя бесѣды о преимуществахъ республики передъ монархіей. Я рѣшительно предлагаю Вамъ впредь воздерживаться отъ политическихъ разговоровъ въ классѣ." Инцидентъ окончился извиненіями съ нашей стороны, послѣ чего мы поднесли Бидо прочувствованный адресъ на французскомъ языкѣ. Старикъ былъ окончательно растроганъ и оставилъ мысль о „занятіяхъ". Разговоры продолжались въ прежнемъ видѣ, но только о Монбланѣ и о Швейцаріи мы говорить избѣгали. Однако, впослѣдствіи уже по окончаніи гимназіи карьера Бидо окончилась неблагополучно. Кто-то донесъ о томъ, какъ онъ „занимается" съ учениками, и его „убрали" въ какой-то уѣздный городъ. Изъ трехъ случаевъ примѣненія этой кары къ моимъ учителямъ это былъ единственный не совсѣмъ несправедливый.

Полицейское направленіе, характеризовавшее русскую школу и всю дѣятельность министерства народнаго просвѣщенія, ярко сказалось въ этомъ эпизодѣ. Въ Калугѣ оно вообще смягчалось провинціальнымъ благодушіемъ. Однако, и здѣсь полицейскій духъ иногда проявлялся въ отталкивающихъ формахъ. Практиковался у насъ, напримѣръ, такъ называемый „внѣшкольный надзоръ надъ учащимися". Онъ возлагался на надзирателей гимназіи — людей безъ образованія и внушавшихъ въ общемъ мало уваженія учащимся. Ихъ умственный и нравственный уровень былъ невысокъ: иначе, конечно, и не могло быть въ виду грошоваго жалованія, которое они получали. Былъ, напримѣръ, надзиратель, извѣстный своимъ пристрастіемъ къ спиртнымъ напиткамъ. Если ему случалось уличить гимназиста въ посѣщеніи пивной, лучшій способъ избѣжать отвѣтственности заключался въ томъ, чтобы его самого завлечь въ пивную и тамъ поднести ему стаканчикъ — другой. Тогда онъ, разумѣется, *не доносилъ*. Посылались эти господа каждый вечеръ въ мѣста, наиболѣе посѣщаемыя гимназистами — зимою въ театръ, а весною и осенью на бульваръ. А на другой день директоръ отчитывалъ или наказывалъ всѣхъ, замѣченныхъ въ безобразіяхъ, въ несоблюденіи формы, куреніи и т. п. гимназическихъ проступкахъ. Гимназисты знали, что это результатъ донесеній Михаила Петровича и издѣвались. Являлся, напримѣръ, гимназистъ на бульваръ нарочно съ огромнымъ турецкимъ чубукомъ. На другой день его вызывалъ директоръ и дѣлалъ замѣчаніе за недозволенное гимназисту „хожденіе съ тросточкой". А гимназистъ уличалъ надзирателя во лжи, доказывая, что у него въ рукахъ была не тросточка, а купленный у военно-плѣннаго турка чубукъ. „Вотъ, молъ, какъ надзираетъ Михаилъ Петровичъ" Однажды, когда вслѣдствіе донесенія одному изъ товарищей серьезно попало, мы отправились всѣмъ классомъ „отчитывать Михаила Петровича". Въ результатѣ вышелъ инцидентъ, который врѣзался мнѣ

въ память, какъ яркая характеристика тогдашнихъ школьныхъ нравовъ.

Михаилъ Петровичъ, когда мы его окружили и всѣмъ классомъ стали требовать объясненія, съ перепуга началъ кричать. Мы обидѣлись и тоже возвысили голосъ. Гимназисты младшихъ классовъ, не разобравъ, въ чемъ дѣло, подняли гамъ, явно сочувственный намъ, — что-то вродѣ кошачьяго концерта. Михайло Петровичъ побѣжалъ жаловаться начальству на насъ, а мы — на Михаила Петровича. Онъ обвинялъ насъ въ „бунтѣ“, мы — восьмиклассники — жаловались, что онъ „кричитъ на насъ, какъ на маленькихъ приготовишекъ“. Директоръ и инспекторъ не на шутку переполошились. Съ первыхъ же словъ намъ стало ясно, что директоръ заподозрилъ въ этомъ столкновеніи „политическую подкладку“. Онъ объявилъ намъ, что обо всемъ этомъ случаѣ онъ „доложитъ педагогическому совѣту“. Мы съ трудомъ удерживали улыбку, зная, что „педагогическій совѣтъ“ сводится къ волѣ директора. Къ счастью нашему инцидентъ совпалъ съ „диктатурою сердца“ Лорисъ-Меликова и съ управленіемъ либеральнаго министра А. А. Сабурова въ нашемъ министерствѣ. Директоръ счелъ нужнымъ показать „гуманное обращеніе“.

На другой день къ великой нашей радости урокъ физики былъ отмѣненъ. Директоръ объявилъ: „Совѣтъ всѣмъ вамъ сбавилъ по баллу за поведеніе“ и началъ длинное увѣщаніе не вѣрить тому, что пишутъ газеты: „вѣдь это же“, говорилъ онъ, „чисто денежная спекуляція, расчитанная на легковѣріе молодежи. Вотъ вы, теперь на школьной скамьѣ, какого требуете себѣ почтенія, какъ щепетильны насчетъ вѣжливаго съ вами обращенія. А кончите курсъ, поступите на службу, — какими будете почтительными чиновниками“. Потомъ онъ взялъ тонъ сердечнаго о насъ попеченія. Такъ прошелъ часъ; мы молчали, не зная, чего онъ отъ насъ хочетъ. Вдругъ кто-то догадался. Раздался голосъ: „Благодаримъ Васъ, Петръ Сергѣевичъ“. Ди-

ректоръ просіялъ и сказалъ, что онъ со своей стороны „будетъ ходатайствовать передъ Совѣтомъ о смягченіи намъ кары“. Съ этими словами онъ выбѣжалъ изъ класса и ровно черезъ пять минутъ вернулся съ извѣстіемъ: „Совѣтъ рѣшилъ не сбавлять вамъ балла за поведеніе“. Мы опять благодарили; и когда онъ ушелъ, послѣдовалъ единодушный взрывъ веселаго настроенія по поводу внезапнаго измѣненія настроенія совѣта.

Особенно остро съ полицейской точки зрѣнія стоялъ вопросъ о русскихъ сочиненіяхъ. Русское сочиненіе гимназиста въ то время было пробнымъ камнемъ благонадежности не только для него самого, но и для его учителя. Не у насъ въ гимназіи, а въ округѣ, по словамъ учителей, неоднократно повторялись случаи увольненія или перевода учителя за признакъ „вольнаго духа“ въ сочиненіяхъ его учениковъ. Опасность была велика, въ особенности въ виду неопредѣленности такихъ понятій, какъ „вольный духъ“ и „благонадежность“. Помнится, въ это самое время калужскій директоръ народныхъ училищъ нашелъ въ одной школѣ раскрашенныя картины съ изображеніемъ звѣрей и на этомъ основаніи заподозрилъ учителя въ „дарвинизмѣ“. Неудивительно, что учителя относились къ нашимъ сочиненіямъ съ нѣкоторымъ трепетомъ. Гимназисты, любившіе щеголять ученостью, охотно ссылались на Бокля, Спенсера и иныхъ болѣе или менѣе заподозрѣнныхъ писателей. Они не рѣшались ссылаться на Добролюбова и Писарева, которые были запрещены цензурою, изъ опасенія, что за это можно вылетѣть изъ гимназіи. Еще опаснѣе цитатъ были „мысли“. И вотъ, учителя жили въ вѣчномъ опасеніи, что пріѣдетъ окружной инспекторъ, потребуетъ ученическія тетрадки на прочтеніе и взыщетъ за „мысли“ не съ авторовъ, а съ ихъ наставниковъ. Мы — гимназисты — прекрасно это понимали и издѣвались надъ нелюбимыми учителями.

Какъ разъ послѣ удаленія любимаго всѣми Яко-

влева, преподаванiе русскаго языка перешло въ руки неспособному, неумному и вдобавокъ несимпатичному преподавателю изъ семинаровъ, А. Н. Троицкому, который раздражалъ насъ тѣмъ, что задавалъ темы, частью прописныя, вродѣ „Не все то золото, что блеститъ“, частью глупыя („Былъ ли Гомеръ слѣпъ“? и „Почему греки представляли его слѣпымъ“?), частью фарисейскія, напр. „О вредѣ готовыхъ переводовъ при приготовленiи уроковъ по древнимъ языкамъ“. Особенно возмутила насъ послѣдняя тема, вынуждавшая кривить душой. Между нами почти не было такихъ, которые бы не воспользовались готовымъ переводомъ при возможности это сдѣлать. Я пробовалъ объясниться съ учителемъ, но только вызвалъ этимъ рѣзкости съ его стороны. Тогда я и нѣкоторые другiе товарищи стали мстить и издѣваться. Одни задавались вопросомъ, какъ можно рѣшить, былъ ли Гомеръ слѣпъ, когда неизвѣстно, существовалъ ли онъ въ дѣйствительности. Другiе по вопросу о готовыхъ переводахъ доказывали, что они „вредны для глазъ“, такъ какъ обыкновенно напечатаны мелкимъ шрифтомъ, третьи, и я въ томъ числѣ, работая на тему „не ропщите“, доказывали, что ропотъ полезенъ, ибо онъ служитъ „факторомъ прогресса“. Для вразумленiя я ссылался на Сабурова и Лорисъ-Меликова, которые даютъ просторъ „свободному выраженiю общественнаго мнѣнiя“.

Учитель не на шутку испугался. Когда пришло время раздавать сочиненiя и разбирать ихъ — мое сочиненiе не было выдано мнѣ обратно. Я былъ очень разочарованъ, т. к. ждалъ разбора, какъ случая поглумиться. На мой вопросъ, гдѣ сочиненiе, я получилъ отвѣтъ: „спросите директора“. До этого дѣло не дошло, потому что самъ директоръ вызвалъ меня въ свой кабинетъ и распушилъ, какъ слѣдуетъ. Какъ умный человѣкъ, онъ, впрочемъ, понялъ, въ чемъ дѣло. Но въ послѣдующее время онъ опасался моихъ выходокъ. Передъ экзаменомъ зрѣлости онъ спецiально прислалъ мнѣ сказать, чтобы я ничего „эдакаго“ въ

сочиненіи не писалъ, а то попадетъ мнѣ за это въ округѣ. А по окончаніи экзамена, когда мы съ братомъ уже студентами были у директора съ визитомъ, онъ разоткровенничался. — „Вотъ вамъ ваше сочиненіе на память. А Сабуровъ-то, Сабуровъ-то вашъ въ отставку вылетѣлъ. Признайтесь, пустой былъ человѣкъ. Вотъ, Александръ Николаевичъ Троицкій, когда вы, бывало, напишете такое сочиненіе, прибѣжитъ ко мнѣ разстроенный и спрашиваетъ: „что мнѣ дѣлать? Что мнѣ теперь дѣлать?" А я ему въ отвѣтъ: „отдайте его мнѣ". — Ну вотъ, получите Ваше произведеніе обратно".

Надо сказать, что въ эпоху Сабурова и Лорисъ-Меликова задача нашей школьной администраціи была спеціально трудная. Она не могла повѣрить, что „критерія благонадежности" для оцѣнки учителей и учениковъ больше не существуетъ, но чувствовала, что этотъ критерій въ чемъ-то измѣнился. Какъ, въ какомъ направленіи, на долго ли, — все это было неясно, и гимназическое начальство въ тревогѣ заметалось. Ранѣе того, при Толстомъ, все было просто и ясно. Латинская грамматика, напримѣръ, признавалась предметомъ „благонадежнымъ". Одинъ изъ классныхъ наставниковъ Калужской гимназіи въ исполненіе возложенной на него по должности обязанности — составлять характеристики своихъ учениковъ, писалъ между прочимъ: *„ученикъ VII-го класса Л. держится либеральнаго образа мыслей, что видно изъ того, что онъ явно пренебрегаетъ латинской грамматикой"*. И вдругъ, при Сабуровѣ начальство стало требовать, чтобы при чтеніи классиковъ обращали вниманіе болѣе на смыслъ, чѣмъ на букву. Тутъ было отчего растеряться бѣдному учителю, тѣмъ болѣе, что будущее было неясно. Вотъ теперь при Сабуровѣ—либеральное направленіе. А что будетъ дальше при слѣдующемъ министрѣ? Поблагодаритъ-ли онъ насъ, если мы теперь запустимъ грамматику? Для средняго, рутиннаго педагога отставка Сабурова была большимъ облегченіемъ. Но окончательно успокоился онъ только

по назначенiи въ министры Делянова. Тогда всѣмъ стало ясно, что теперь — „все пойдетъ по старому“.

V. Нигилистическiй перiодъ. Калуга въ семидесятыхъ годахъ.

Фальшь толстовской гимназiи давала себя опредѣленно чувствовать въ Калугѣ, какъ и въ Москвѣ. И чѣмъ лучше были отдѣльныя лица изъ педагогическаго персонала, съ которыми мы соприкасались, тѣмъ яснѣе становилось для насъ — учениковъ старшихъ классовъ — зло той системы, которой должны были такъ или иначе подчиняться даже лучшiя лица. Ея полицейскiй духъ, которому приносились въ жертву интересы преподаванiя, былъ для насъ совершенно очевиденъ. Такой фактъ, какъ увольненiе лучшаго преподавателя — Яковлева — именно за то, что онъ былъ живой человѣкъ, а не чиновникъ, не могъ не произвести на насъ сильнаго впечатлѣнiя. Да что говорить объ отдѣльномъ учителѣ, когда въ то время вся *русская литература* была подъ подозрѣнiемъ. Съ одной стороны, изученiе этой литературы доводилось только *до Гоголя*! Даже на изученiе Лермонтова при восьмилѣтнемъ гимназическомъ курсѣ „не хватало времени“. А съ другой стороны, цѣлая уйма времени убивалась на совершенно безплодное и безсмысленное чтенiе классиковъ. Почему и зачѣмъ? Въ VII-мъ и VIII-мъ классѣ мы были убѣждены, что это дѣлалось *нарочно*, чтобы отвлечь насъ отъ окружюащей жизни, отъ политики, отъ модныхъ въ то время естественныхъ наукъ. Мы видѣли ясно. что не сами по себѣ классики дороги высшему начальству, что они въ его рукахъ — *только орудiе полицейскихъ цѣлей*:

Нужно ли удивляться, что при этихъ условiяхъ отъ насъ ускользнуло и то доброе, что было въ классицизмѣ? Мы относились къ нему огульно отрицатель-

но; мы перенесли на него все то недовѣріе и ненависть, которыя внушала намъ толстовская система.

Презрѣніе къ гимназіи, господствовавшее среди наиболѣе развитыхъ учениковъ, поддерживалось фактами, повседневно наблюдаемыми. Прежде всего, насъ не могъ не поразить необыкновенно низкій уровень развитія первыхъ учениковъ гимназіи — тѣхъ, что попадали на „золотую доску". Многіе изъ нихъ были круглыми невѣждами: при умѣніи безукоризненно правильно писать mensam по-латыни и по-гречески, они часто не имѣли понятія о Лермонтовѣ, Тургеневѣ, Гончаровѣ, не говоря уже о Толстомъ и Достоевскомъ: встрѣчались между ними совершенные тупицы, которые и о Пушкинѣ, и о Гоголѣ имѣли понятіе лишь въ предѣлахъ требованій гимназическаго курса. Насъ не могъ не поразить тотъ фактъ, что, переходя изъ гимназіи въ университетъ, товарищи наши подвергались полной переоцѣнкѣ: первые оказывались послѣдними, а послѣдніе первыми. Окончившіе съ золотою медалью гимназію къ величайшему своему изумленію потомъ проваливались на университетскихъ экзаменахъ и горько жаловались на „несправедливость профессора".

Все это не могло не укрѣпить насъ въ убѣжденіи, что гимназическое ученіе — безплодное толченіе воды, что преподается намъ наука неподлинная, ненастоящая, и что истинное знаніе есть именно то, которое въ гимназіи или не преподается вовсе или является въ ней запретнымъ плодомъ. Результаты толстовской гимназіи были прямо противоположны тѣмъ, коихъ она добивалась. Если бы естественныя науки не подвергались гоненію въ средней школѣ, онѣ, разумѣется, не пользовались бы тамъ и малой долей той популярности, какою онѣ пользовались.

Будучи гимназистами VI-го класса, мы были убѣждены, что *истинная наука* — только естествознаніе. Разумѣется, тутъ происходило полное смѣшеніе положительной науки съ философіей; мыслящіе ученики старшихъ классовъ гимназіи думали, что только путемъ

изученія естественныхъ наукъ можно составить себѣ научное міросозерцаніе.

Помню, какъ мы съ братомъ увлекались попыткой Бокля преобразовать исторію путемъ внесенія въ нее методовъ естественно-научнаго изслѣдованія. Мы зачитывались Дарвиномъ и Спенсеромъ, пытались ознакомиться съ анатоміей человѣческаго тѣла по купленному братомъ анатомическому атласу. Помнится, моя мать, съ тревогою слѣдившая за нашими умствованіями, внушала намъ мысль, что нехорошо жить однимъ умомъ, надо жить больше *сердцемъ*, на что мой братъ отвѣчалъ: „что такое сердце, мама: это полый мускулъ, разгоняющій кровь внизъ и вверхъ по тѣлу".

Предшествовавшее намъ поколѣніе увлекалось матеріализмомъ Бюхнера, а изъ отечественныхъ „авторитетовъ" зачитывалось запрещенными въ то время произведеніями Добролюбова и Писарева. Я засталъ только остатки этого увлеченія, коего ни я, ни братъ мой совершенно не переживали. Въ то время вульгарный матеріализмъ былъ вытѣсненъ позитивизмомъ Конта и Милля, съ которыми мы познакомились по изложенію Милля и Льюиса уже въ VI-мъ классѣ. Но различіе это было въ сущности шатко. Помнится, я съ одной стороны усвоилъ себѣ Кантовское ученіе о непознаваемой „сущности вещей", а съ другой стороны увлекался ученіемъ Спенсера, у котораго „позитивизмъ" совмѣщался съ полу-матеріалистическимъ ученіемъ о сущности существующаго и, въ частности, съ матеріалистическимъ ученіемъ о превращеніи физической энергіи въ мысль. Въ VI классѣ мальчиками пятнадцати-шестнадцати лѣтъ мы опредѣленно исповѣдовали позитивизмъ спенсеровскаго типа.

Это былъ, разумѣется, полный разрывъ со всѣмъ, что считалось у насъ „казенщиной" и, стало быть, не съ одной только гимназической наукой. Гимназія подготовила этотъ кризисъ, воспитавъ въ насъ систематически недовѣріе ко всему, что преподавалось намъ съ малолѣтства. Ея пустая отвлечен-

ность, обрекавшая мысль на полную безсодержательность, и въ особенности ея полицейскій духъ подготовили почву для этого „нигилистическаго“ настроенія. Но одной гимназіей его, разумѣется, объяснить нельзя. Въ эпидемическомъ безвѣріи тогдашней мыслящей молодежи отражалось дѣйствіе не только обще-русскихъ, но и обще-міровыхъ причинъ. Помнится, первыя сомнѣнія въ вѣрѣ возникли у меня очень рано, уже четырнадцати лѣтъ, подъ вліяніемъ чтенія Бѣлинскаго, коимъ я увлекался уже въ V-мъ классѣ гимназіи. Въ ту пору сомнѣнія меня волновали, особенно въ безсонныя ночи, когда мысль о томъ, что нѣтъ Бога, повергала меня въ трепетъ и заставляла дрожать въ моей постели. Потомъ уже въ VI классѣ, когда я напалъ на Бокля, Милля, Спенсера, переходъ къ безвѣрію совершился внезапно и *въ ту минуту*, казалось, необыкновенно легко. Разумѣется, эта кажущаяся *легкость* объясняется тѣмъ, что болѣзненныя ощущенія были испытаны гораздо раньше, и на самомъ дѣлѣ вѣра была подточена уже давно! Помнится, въ послѣднюю минуту особенно сильное впечатлѣніе произвелъ на меня *тонъ* увлекавшихъ меня писателей, которые разсматривали религію, какъ что-то давно поконченное, близкое къ суевѣрію или какъ пережитокъ отсталаго способа мышленія „теологическаго періода“.

Боязнь „быть отсталымъ“ и преувеличенное преклоненіе передъ „послѣднимъ словомъ науки“ вообще характерное свойство очень юныхъ некритическихъ умовъ. Подъ этой маской скрывается, въ дѣйствительности, рабская зависимость молодого ума отъ того авторитета, чье слово признается „послѣднимъ“. Въ мое время юный студентъ, писавшій рефератъ о Контѣ, обрушивался противъ своего оппонента и взывалъ къ профессору: „господинъ профессоръ, уймите этого господина, что онъ противъ Конта мнѣ говоритъ“. А будучи уже профессоромъ, когда мнѣ приходилось на семинаріяхъ возражать противъ высшаго въ то время студенческаго авторитета — Карла Маркса, мнѣ

приходилось встрѣчаться съ юными первокурсниками, которые со снисходительной улыбкой замѣчали: „вѣдь Марксъ, г. профессоръ, — послѣднее слово науки". „Почему вы знаете, что не предпослѣднее", спрашивалъ я обыкновенно въ этихъ случаяхъ.

Въ юномъ возрастѣ, сколько я замѣчалъ, этотъ послѣднiй доводъ сильно дѣйствуетъ. Кто пережилъ не одно, а хотя бы два-три „послѣднихъ слова", для того уже нѣтъ незыблемыхъ авторитетовъ: онъ утрачиваетъ вѣру въ „послѣднiя слова" вообще и начинаетъ оцѣнивать человѣческiя мысли по существу, независимо отъ того хронологическаго порядка, въ какомъ онѣ были высказаны. Для меня и брата моего Сергѣя эта грань наступила очень рано, еще въ гимназiи, когда мы принялись за серьезное изученiе философiи и въ особенности—исторiи философiи.

Собственно позитивный перiодъ нашъ продолжался только въ VI-мъ и лишь частью въ VII-мъ классѣ, гдѣ мы окончательно въ немъ разочаровались. Но объ этомъ я разскажу въ дальнѣйшемъ. Необходимо сначала остановиться на обстановкѣ, въ которой происходило все это философствованiе. Я сохранилъ весьма благодарное воспоминанiе о Калугѣ, гдѣ мнѣ пришлось провести мои юные годы—четыре года въ гимназiи и каникулярные мѣсяцы за всѣ университетскiе годы. Это одинъ изъ небольшихъ, но за то одинъ изъ самыхъ очаровательныхъ русскихъ губернскихъ городовъ, какiе я знаю. Трудно себѣ представить болѣе подходящее мѣсто для спокойной, сосредоточенной умственной работы. Въ Москвѣ уже въ отроческiе годы въ нашъ умственный мiръ врывалась пестрая масса внѣшнихъ впечатлѣнiй. Были среди этихъ внѣшнихъ впечатлѣнiй такiя, которыя оплодотворяли и окрыляли душу, напримѣръ, музыкальныя воспрiятiя, о которыхъ я уже говорилъ. Но за то въ московской жизни было чрезвычайно много такого, что разсѣивало умъ; тамъ куда труднѣе сосредоточивать свои мысли. Изъ калужской гимназiи мы, оба брата, вышли съ продуман-

нымъ, вполнѣ опредѣленнымъ міросозерцаніемъ. Въ главномъ и основномъ оно съ тѣхъ поръ не мѣнялось. Я сильно сомнѣваюсь, чтобы въ Москвѣ этотъ процессъ самоопредѣленія мысли могъ завершиться такъ быстро.

При обиліи московскихъ развлеченій трудно было бы найти время и для тѣхъ значительныхъ *познаній* по исторіи философіи, которыя мы пріобрѣли въ Калугѣ за гимназическіе годы. Въ Калугѣ все располагало ко внутренней работѣ мысли: съ одной стороны — скудость внѣшнихъ развлеченій жизни городской, а съ другой стороны, тѣ дивныя красоты русской природы, которыми мы были окружены.

Калуга—городъ настолько маленькій, что въ ней есть мѣста, откуда деревня видна со всѣхъ четырехъ концовъ. Плохенькій театръ, въ которомъ мы почти не бывали, потому что послѣ Московскаго Малаго театра чувствовали, насколько въ немъ неважно играютъ, — вотъ почти все, что давалъ этотъ городъ по части „художественныхъ наслажденій". Раза три за наше пребываніе пріѣзжалъ концертировать Рубинштейнъ — по приглашенію моего отца, съ которымъ онъ былъ друженъ. Рѣдко, рѣдко, тоже по приглашенію отца, пріѣзжали давать концерты профессора Московской Консерваторіи, — Гржимали, Пабстъ, Фитценгагенъ. Пріѣзды эти были для насъ сущими праздниками и оставляли впечатлѣніе тѣмъ болѣе глубокое, что они были рѣдки. Зато въ остальное будничное время умственная жизнь должна была питаться извнутри, а не извнѣ. Тутъ не было выбора: или самоуглубленіе, полный уходъ изъ окружающаго міра въ мысль, или мертвящая скука, отъ которой дѣваться некуда.

Въ такомъ маленькомъ городѣ знаешь почти всякаго жителя, почти всякаго прохожаго на улицѣ; знаешь кого, гдѣ и въ какой часъ встрѣтишь и кто что скажетъ.

Дни тянутся сѣрой, однообразной чередой, почти не отличаясь другъ отъ друга. Поэтому на разстоя-

ніи многихъ лѣтъ отдѣльные годы какъ-то сливаются въ одну сѣрую неразличимую массу, такъ что порой трудно бываетъ вспомнить, что случилось раньше и что позже: точная хронологія возможна лишь по отношенію къ сравнительно немногимъ яркимъ событіямъ внѣшней и въ особенности внутренней жизни.

Есть въ провинціи лица, которыя какъ бы всѣмъ существомъ своимъ олицетворяютъ этотъ безпросвѣтный сѣрый фонъ губернской жизни. Вотъ, напримѣръ, старичекъ Владиміръ Степановичъ, нашъ другъ, часто посѣщавшій насъ по вечерамъ, отъ котораго такъ и вѣетъ добротой и скукой. Для меня онъ остается на всю жизнь классическимъ образцомъ жизни безъ событій. Весь разговоръ его либо осужденіе настоящаго съ его нигилизмомъ, дарвинизмомъ и прочими „измами“, либо напряженная, съ трудомъ дающаяся попытка вспомнить прошлое, въ которомъ вспомнить нечего. Разсказываетъ онъ, напримѣръ, безъ конца, какъ однажды у него въ горлѣ першило: „случается эдакъ, иногда въ горлѣ чешется и отъ этого кашель бываетъ. — Позвольте, въ какомъ это было году — въ семидесятомъ, нѣтъ, виноватъ, въ шестьдесятъ девятомъ“, — старикъ начинаетъ старательно припоминать, въ которомъ именно году по пути въ Калугу его продулъ вѣтеръ, и у него стало першить въ горлѣ. Молодежь, его слушая, бывало, кусаетъ губы, чтобы не расхохотаться, и начинаетъ самый изводящій для него разговоръ о Дарвинѣ. „А вотъ, Владиміръ Степановичъ, Дарвинъ то говоритъ, что котъ произошелъ отъ медвѣдя“. Владиміръ Степановичъ оживляется, начинаетъ поносить Дарвина, вскакиваетъ и бѣгаетъ по комнатѣ, комически подражая плавательнымъ движеніямъ бѣлаго медвѣдя, чтобы доказать всю невозможность превращенія медвѣдя въ кота. А мы потѣшаемся и дразненія ради пугаемъ старика нашими познаніями въ области ученія „о происхожденіи человѣка отъ обезьяны“. Владиміръ Степановичъ начинаетъ раздражаться, но черезъ день-другой опять

заходитъ вечеромъ, чтобы опять начать разговоръ о томъ, что было въ семидесятомъ, нѣтъ, позвольте, въ семьдесятъ первомъ году, а мы опять шпигуемъ его Дарвиномъ. При всемъ томъ мы любимъ старика и чувствуемъ, что онъ также насъ любитъ.

Поразительная черта, общая большинству нашихъ калужскихъ старыхъ друзей, это — отсутствіе настоящаго и связанная съ этимъ наклонность жить въ прошломъ. Въ прошломъ жила посѣщавшая насъ старая дѣва Софья Семеновна, которая мечтала о тѣхъ дняхъ, когда она была молода, красива и выѣзжала одинъ годъ въ Петербургѣ въ свѣтъ, чтобы потомъ на всю жизнь окунуться въ безпредѣльную скуку провинціи съ неудовлетворенной мечтой о любви и счастьи. „Сорокъ пять лѣтъ огонь неугасимый горитъ въ груди“, говорила она о себѣ. „Да, вамъ, мужчинамъ, хорошо, оттого что самъ Богъ былъ мужчина“. Когда, однажды, кто то во время великаго поста вспомнилъ при ней извѣстную великопостную молитву: „духъ же цѣломудрія, смиренномудрія, терпѣнія и любве даруй ми“, Софья Семеновна вдругъ вскипѣла: „ахъ, не напоминайте мнѣ про цѣломудріе, сорокъ пять лѣтъ этимъ страдаю“. И вокругъ Софьи Семеновны все напоминало о какомъ-то широкомъ размахѣ жизни въ прошломъ. Жила она въ старинномъ барскомъ домѣ, гдѣ былъ великолѣпный залъ съ хорами для музыки — остатокъ той крѣпостной эпохи, когда дворянство въ Калугѣ задавало пиры и балы. Въ этомъ великолѣпномъ домѣ Софья Семеновна коротала дни съ разорившимся старикомъ-отцемъ и съ необыкновенно глупой теткой, которую она стихійно ненавидѣла.

Прошлымъ жилъ и старѣющій сѣдой красавецъ Тургеневскаго типа, Николай Сергѣевичъ, когда-то блестящій кавалеръ и сердцеѣдъ, либералъ сороковыхъ годовъ съ воспоминаніемъ о томъ, кажется, единственномъ моментѣ въ его жизни, когда онъ въ качествѣ петрашевца „пострадалъ за убѣжденія“, былъ приговоренъ къ смертной казни, но помилованъ и

отданъ въ солдаты, послѣ чего выслужилъ Георгія и получилъ полное прощеніе. Помню девяностолѣтняго старика Семена Яковлевича, олицетворенное воспоминаніе о двѣнадцатомъ и четырнадцатомъ годѣ, о походѣ въ Парижъ и объ Александрѣ Первомъ.

Помню двухъ древнихъ старухъ, къ коимъ насъ посылали дважды въ годъ съ визитами на Рождество и Пасху. Онѣ тоже „вспоминали“ про двѣнадцатый годъ, явно путая лицъ и поколѣнія: „Помните ли вы, мой дорогой, какъ мы съ вами въ двѣнадцатомъ году отъ французовъ въ телѣгѣ спасались“, говорила старуха посѣтителю на Новый Годъ. „Извините, Вы смѣшиваете“ — отвѣчалъ онъ, — „это было съ моимъ дѣдомъ!“ Калуга въ мои юные годы была какимъ то живымъ архивомъ, точнѣе говоря, собраніемъ людей, сданныхъ въ архивъ. Центромъ воспоминаній этихъ людей было ушедшее, канувшее въ вѣчность довольство барско-дворянской жизни.

Теперь уже почти нѣтъ въ Калугѣ этихъ вспоминающихъ людей, живущихъ блестящимъ дворянскимъ прошлымъ. О быломъ говорятъ уже не люди, а только камни и стѣны—уютные дома въ прекрасномъ стилѣ Empire, съ хорами, колоннами и чудно раскрашенными потолками. Не знаю, всѣ ли эти красоты уцѣлѣли послѣ пронесшагося надъ Калугой вихря революціи. Къ счастью, лучшее изъ художественныхъ красотъ калужскихъ домовъ было увѣковѣчено журналомъ „Старые годы“. Мнѣ же пришлось застать въ Калугѣ кое-какіе остатки той эпохи, когда стѣны еще гармонировали съ лицами. Въ дополненіе къ сказанному объ этой эпохѣ вспоминаю, что у насъ былъ исключительно старомодный губернаторъ. Испуганный „духомъ времени“, онъ въ каждой мысли подозрѣвалъ тотъ „духъ критики, который ведетъ къ нигилизму и соціализму“. Всего новаго онъ боялся, какъ огня. Даже о произведеніяхъ Чайковскаго, въ частности о „Франческо да Римини“, онъ при мнѣ однажды воскликнулъ: „да это — нигилизмъ въ музыкѣ“.

Былъ у насъ и архіерей, какихъ теперь нѣтъ — подвижникъ-монахъ святой жизни — человѣкъ совершенно древній по воззрѣніямъ. Однажды архимандритъ, читавшій публичную лекцію о религіи, подвергъ ее цензурѣ владыки. Когда дошли до фразы — „а безъ религіи человѣкъ — скотина", владыка сказалъ коротко и ясно: „еще хуже скотины".

Раньше въ дѣтствѣ мнѣ приходилось сталкиваться со стариною въ Москвѣ. Но въ Москвѣ рядомъ съ этимъ чувствовалось могучее біеніе пульса недавно народившейся новой жизни. Такого сгущеннаго впечатлѣнія старины, замороженной и консервированной, какъ въ Калугѣ, я въ Москвѣ никогда не испытывалъ. Нельзя сказать, чтобы и въ Калугѣ эта старина была нетронута современностью. Нѣтъ, она была не только тронута, но сломлена и разбита жизнью. Но это были не мертвые обломки старины, а живописныя развалины, которыя *еще жили въ лицахъ*.

Былъ еще въ Калугѣ въ то время одинъ послѣдній остатокъ стараго размаха старинной барской жизни. За городомъ, въ сосѣдствѣ съ чудной Лаврентьевской рощей изъ вѣковыхъ сосенъ стоитъ очаровательная усадьба Empire „Желѣзники", гдѣ жила тогда старушка Делянова съ двумя дѣвицами — дочерьми, радушно принимавшая весь городъ и устраивавшая въ своемъ живописномъ домѣ любительскіе спектакли и балы, причемъ на хорахъ ея зала дѣйствительно гремѣла военная музыка. У меня отъ этихъ вечеровъ осталось воспоминаніе о безмятежно весело проведенныхъ часахъ, о танцахъ до поздней ночи и о возвращеніи домой послѣ ужина уже утромъ въ саняхъ, на тройкахъ, подъ радостный звукъ бубенчиковъ!

Въ общемъ же отъ калужской окружающей жизни у меня осталось впечатлѣніе не живого дѣйствія, а какого-то сна, частью пріятнаго и благодушнаго, но подчасъ томительно скучнаго. Скукой были пропитаны насквозь въ особенности мѣста общественныхъ увеселеній, — городской бульваръ и загородный садъ.

Сами по себѣ оба эти мѣста были прелестны — какъ бульваръ съ террасой и очаровательнымъ видомъ на Оку, такъ и загородный садъ съ его вѣковыми елями, расположенный на высокихъ холмахъ, откуда открывался видъ еще болѣе широкій, съ рѣкой Ячен-кой и дивнымъ сосновымъ боромъ. Скуку наводила не эта родная и безконечно милая природа, а гуляющая публика, являвшаяся въ нарядахъ „на музыку“ и чинно маршировавшая подъ звуки безконечно надоѣвшаго марша: за десять лѣтъ моего пребыванія въ Калугѣ никогда не мѣняли этотъ маршъ, исполнявшійся жиденькимъ струннымъ оркестромъ. Почти не мѣнялись и номера „блестящаго фейерверка“, который сжигался въ концѣ: римскія свѣчи назывались почему-то „дамскій капризъ или мемфеферы“. За „капризомъ“ слѣдовалъ „огненный рыцарь или орлеанская дѣва“. Иногда летѣлъ нагрѣтый спиртомъ аэростатъ со слономъ. Дама притворно-наивно спрашивала у устроителя, настоящій ли будетъ слонъ, и получала отвѣтъ: „нѣтъ-съ, но очень похожъ-съ“. Иногда же, когда публика выражала неудовольствіе, въ афишѣ слѣдующаго гулянья объявлялось: „все будетъ представлено въ наилучшемъ видѣ, чтобы оправдаться передъ почтеннѣйшей публикой, а также господъ пиротехниковъ“.

И лица, посѣщавшія эти гулянья, были всегда одни и тѣ же: одна и та же влюбленная парочка; одна и та же гимназистка, которая, проходя мимо меня, бросала короткую фразу: „парле, же ву земъ“, обиженный *прежній* антрепренеръ гуляній, собирающій клику гимназистовъ, чтобы освистать новаго антрепренера, и наконецъ — офицеръ, цѣлый вечеръ пьющій ягодныя воды, ухаживая за продавщицей, все это въ концѣ концовъ настолько пріѣдается отъ повторенія изъ года въ годъ, что перестаетъ смѣшить и развлекать. Все вмѣстѣ взятое, публика, маршъ, фейерверкъ — сливается въ впечатлѣніе безконечной пустоты, щемящей душу тоски, отъ которой дѣться некуда. И, однако, когда устанешь отъ занятій, волей не волей пойдешь на

бульваръ или въ садъ—искать человѣческаго общества и встрѣчаешь тамъ почти всѣхъ гимназическихъ товарищей, которые появлялись тамъ въ хорошіе весенніе, лѣтніе и осенніе дни. Бульваръ въ провинціи является, въ особенности весною, настоящимъ мѣстомъ духовнаго общенія учащихся, въ особенности старшихъ возрастовъ. И это до нѣкоторой степени скрашиваетъ его скуку, особенно въ будни, когда нѣтъ гуляній. Во время экзаменовъ на бульваръ идутъ вечеромъ узнавать, кто выдержалъ и кто провалился на письменномъ экзаменѣ, въ полной увѣренности, что тамъ точно все извѣстно; на бульварѣ каждый узнаетъ послѣднюю интересующую его городскую сплетню, въ частности сплетню, касающуюся гимназическихъ учителей и начальства. Но зато на бульварѣ же завязываются и „умные разговоры" между гимназистами. Тамъ поднимаются всѣ вопросы міросозерцанія; тамъ рѣшается вопросъ, — есть ли Богъ; тамъ разсуждаютъ и о томъ, есть ли цѣли въ жизни и для чего нужно жить. Одинъ говоритъ — для искусства, другой, прочитавшій „утилитаризмъ» Милля, говоритъ — „для счастья". Завязывается оживленный споръ на эту тему между шестиклассниками. Вдругъ раздается рядомъ протяжный зѣвокъ восьмиклассника Василія Ивановича, — *нигилиста*, который называетъ себя „человѣкомъ Базаровскаго типа" и пользуется большимъ авторитетомъ среди товарищей. „Ну, опять о цѣляхъ заговорили". И Василій Ивановичъ, грузно поднявшись, уходитъ. А шестиклассники сконфуженно умолкаютъ: они почувствовали, что разговоръ „о цѣляхъ жизни" доказываетъ большую отсталость.

Разговоръ этотъ у насъ имѣлъ цѣлую исторію. Собираясь на бульварѣ, гимназисты трехъ старшихъ классовъ вздумали издавать журналъ „Гимназистъ", который вышелъ всего въ двухъ нумерахъ и затѣмъ остановился за недостаткомъ содержанія, потому что „писатели" въ одной — двухъ маленькихъ статьяхъ успѣли высказать все, что надумали, кто чѣмъ былъ

уменъ. Помню въ этомъ журналѣ особенно двѣ характерныя статьи: одну—фельетонъ, гдѣ авторъ жаловался, что кругомъ царитъ „какой то застой общественной жизни"; другую—Василія Ивановича о томъ, что вопросъ „о цѣляхъ" — пустой разговоръ. Нелѣпо спрашивать, *для чего* я живу, говорилъ онъ, — умѣстно спрашивать только, *почему* я живу. Живу я потому, что моему папенькѣ захотѣлось побаловаться съ моей маменькой и, взаимно услаждаясь, они и не думали обо мнѣ. Стало быть вопросъ „для чего" я родился — явно нелѣпъ и не заслуживаетъ вниманія.

Василій Ивановичъ былъ старше меня годами и двумя классами. Онъ получалъ французскій журналъ Revue philosophique и былъ въ восьмомъ классѣ начитаннѣе, чѣмъ я въ VI-омъ. Поэтому онъ былъ для меня большимъ авторитетомъ. „Умные разговоры" съ нимъ меня занимали, волновали, раззадоривали мое юношеское самолюбіе. Встрѣчи съ Василіемъ Ивановичемъ были однимъ изъ тѣхъ привлеченій, которыя заставляли меня ходить на бульваръ. Но продолжалось это всего одинъ годъ. Василій Ивановичъ кончилъ гимназію и поступилъ въ университетъ, а я перешелъ въ VII классъ, гдѣ началъ серьезно заниматься исторіей философіи и переросъ нигилизмъ настолько, что разговоры Василія Ивановича „о цѣляхъ" стали казаться мнѣ дѣтскими. Я очень скоро окончательно ушелъ изъ сферы его вліянія.

Все это вмѣстѣ взятое — и гимназія, съ ея ненавистной „казенщиной", и „бывшіе люди", живущіе воспоминаніями, и бульваръ, и наивные юношескіе разговоры, и навѣянный всею окружающей обстановкой нигилизмъ — оставляло въ душѣ ощущеніе глубокаго неудовлетворенія. Куда уйти отъ этого давящаго чувства пустоты? Только во внутрь, только въ міръ мысли.

VI. Періодъ исканій и сомнѣній.

Уже въ VI классѣ мы съ братомъ ушли въ философію цѣликомъ. Помнится уже тогда пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ я успѣлъ прочитать и даже изложить письменно „Логику“ Милля, его же „Политическую Экономію“, „Основныя Начала“ Спенсера (по французски) и его же „Психологію“, изложеніе воззрѣній Конта въ трудахъ Милля и Льюиса и „Происхожденіе видовъ“ Дарвина. Въ это самое время я получалъ Revue Scientifique, усердно читая все, что тамъ печаталось по философіи естествознанія, успѣлъ ознакомиться и съ знаменитой книгой Клода Бернара Leçons sur les phénomènes de la vie. Такое обиліе чтенія было обусловлено тѣмъ, что въ VI классѣ, какъ сказано, я временно вышелъ изъ гимназіи и посвящалъ гимназическимъ предметамъ только утро. Весь остальной день и вечеръ за вычетомъ времени, затраченнаго на ѣду и небольшую прогулку, посвящался мною философіи.

Я пятнадцати, а братъ мой — шестнадцати лѣтъ переживали періодъ англо-французскаго позитивизма. Это была вообще некритическая эпоха нашего мышленія, — *періодъ юношескаго догматизма въ отрицаніи*. Помнится, тогда я жилъ и думалъ мыслями Бокля, Милля, Спенсера, и о какой-либо попыткѣ отрѣшиться отъ этого гипноза не могло быть и рѣчи.

И вдругъ въ VII классѣ наступилъ рѣзкій переломъ. Въ Калугѣ въ то время не было рѣшительно никого, кто бы могъ руководить нашими чтеніями или давать сколько нибудь путные совѣты. — Мы шли ощупью и попадали на книги больше по ссылкамъ на нихъ въ другихъ книгахъ и журналахъ, а иногда по газетнымъ объявленіямъ или путемъ просмотра витринъ въ книжныхъ магазинахъ. Не понимаю до сихъ поръ, по какой счастливой случайности мой братъ напалъ на слѣдъ „Исторіи новой философіи“ Куно Фишера, которая въ англо-французскихъ нашихъ кни-

гахъ, конечно, не цитировалась. Ему какъ то удалось достать четыре тома К. Фишера въ русскомъ переводѣ Н. Страхова въ гимназической библіотекѣ. И чтеніемъ этой книги для насъ обоихъ было положено первое начало серьезному, *критическому* изученію философіи.

Помню, какое сильное впечатлѣніе произвелъ на меня самый историческій подходъ къ философіи. Какъ многое изъ того, что въ ученіяхъ Милля и Спенсера представлялось мнѣ безспорной истиной, вдругъ оказывалось давно опровергнутымъ заблужденіемъ! Я считалъ „послѣднимъ словомъ“ эмпиризмъ Милля и, вдругъ, открылъ, что этотъ эмпиризмъ опровергнутъ еще Лейбницемъ въ полемикѣ съ Локкомъ; я увлекался Спенсеровской попыткой чисто механическаго объясненія явленій жизни и, вдругъ, увидѣлъ, что это чисто механическое міросозерцаніе вдребезги разбито тѣмъ же Лейбницемъ. Мнѣ сразу стала ясна пошлость ходячихъ характеристикъ явленій мысли, какъ „передовыхъ“ и „отсталыхъ“. Всѣ оцѣнки философскихъ ученій разомъ измѣнились, какъ только я сталъ смотрѣть на нихъ въ исторической перспективѣ! Когда я подошелъ къ Канту, я сдѣлалъ открытіе, еще болѣе меня поразившее. Я убѣдился въ томъ, до какой степени излюбленные мною дотолѣ англійскіе философы — невѣжды въ философіи нѣмецкой. Гербертъ Спенсеръ, критикуя Канта, грубѣйшимъ образомъ смѣшивалъ апріорное съ врожденнымъ. Важнѣйшихъ ученій Канта, напримѣръ, ученія о пространствѣ и времени, онъ не только не понимаетъ, но даже въ сущности и не знаетъ. Вся нѣмецкая метафизика — область совершенно непонятная и почти совершенно неизвѣстная Конту и Миллю; ихъ отрицательное сужденіе о метафизикѣ поэтому бьетъ мимо. А между тѣмъ они самоувѣренно говорятъ о „метафизическомъ періодѣ мысли“, какъ о чемъ то отсталомъ и разъ на всегда поконченномъ.

Однимъ словомъ, всѣ тѣ формулы, въ которыя я слѣпо, догматически вѣрилъ, были разомъ вдребезги разбиты. Дѣтская самоувѣренность пропала, и я при-

шелъ къ смиренному сознанію того, что у меня еще нѣтъ міросозерцанія, что мнѣ все сызнова нужно пересмотрѣть и переработать. Это былъ рѣшительный шагъ къ сократическому: „я только одно знаю, что я ничего не знаю". Я почувствовалъ всю безграничность моего невѣдѣнія, и это былъ чрезвычайно важный результатъ. Вѣдь въ этомъ заключается настоящее начало всякой серьезной школы философскаго мышленія. Благодаря Куно Фишеру, мнѣ удалось сдѣлать этотъ первый шагъ уже шестнадцати лѣтъ.

Въ столь раннемъ возрастѣ это — шагъ очень мучительный. Я ощутилъ его болѣе болѣзненно, чѣмъ первоначальную утрату вѣры. Когда отъ христіанства я вдругъ перескочилъ къ Конту и Спенсеру, это была та „замѣна одного катихизиса другимъ", о которой такъ остроумно говоритъ Соловьевъ въ своей извѣстной характеристикѣ нигилистическаго періода шестидесятыхъ годовъ! Содержаніе вѣры измѣнилось, но я все-таки былъ въ сущности вѣрующимъ и имѣлъ готовый отвѣтъ на всѣ вопросы. И вдругъ я почувствовалъ себя путникомъ безъ компаса среди безпредѣльнаго и совершенно неизвѣстнаго мнѣ океана! Это сознаніе полной неизвѣстности вселенной и полное невѣдѣніе пути, какимъ нужно итти, жутко и тревожно. Шестнадцати лѣтъ я испыталъ болѣзненныя минуты безграничнаго *сомнѣнія во всемъ,* т. е. не только въ тѣхъ или другихъ догматахъ мысли, но и *въ самой мысли,* въ ея способности къ познанію, въ самомъ ея исканіи. Порою нападали минуты отчаянія, когда мнѣ казалось, что самая мысль есть обманъ, что истина, какъ такая—не болѣе, какъ иллюзія, которую нужно отбросить. Я утратилъ всякую достовѣрность. Не иллюзія ли все то, что мы считаемъ законами природы? Что, если я брошу на полъ эту чернильницу, а она, вдругъ, не упадетъ, а останется висѣть въ воздухѣ? Что мнѣ ручается за достовѣрность закона тяготѣнія? „Единообразіе порядка природы", о которомъ говоритъ Милль? А что если это однообразіе тоже — одна изъ многихъ фантазій Милля?

Я пугался этихъ мыслей, которыя меня преслѣдовали. Порою я чувствовалъ себя близкимъ къ сумасшествію. А при мысли о томъ, что и сходить то собственно не съ чего, такъ какъ то, что люди называютъ „умомъ", тоже есть нѣчто призрачное, мнимое, на меня нападалъ трепетъ. Я выходилъ изъ этого состоянія посредствомъ новаго усилія, новаго напряженія мысли. Ощущеніе дѣятельности собственной мысли давало мнѣ чувство бодрости. Въ эти минуты мнѣ хотѣлось вѣрить въ возможность Декартова выхода изъ сомнѣній: „я мыслю, слѣдовательно я есмь"! И я переходилъ къ новымъ и новымъ исканіямъ: но все-таки то наивноблаженное состояніе, которое я испытывалъ въ свой нигилистическій періодъ безграничной *вѣры* въ философскіе догматы, стало для меня окончательно невозможнымъ. Порою мнѣ казалось, что я нашелъ какую-то достовѣрность, но она тотчасъ же разрушалась критикой и отъ меня ускользала.

Въ VII классѣ я прочиталъ и перечиталъ цѣлыхъ четыре тома Куно Фишера, прочелъ и Кантову „Критику чистаго разума". Переводы меня не удовлетворяли, и я сталъ учиться безъ учителей нѣмецкому языку, котораго дотолѣ почти не зналъ. „Ученіе" состояло въ томъ, что я читалъ параллельно „Пролегомена" Канта по нѣмецки и во французскомъ переводѣ. Потомъ оставилъ переводъ и сталъ читать съ помощью словаря до тѣхъ поръ, пока словарь пересталъ быть нуженъ*). Я посвятилъ этому обученію нѣмецкому языку часы латинскихъ и греческихъ уроковъ. Добрѣйшій Емельянъ Ивановичъ, спрашивавшій въ это время моихъ товарищей, не догадывался, что передо мною лежатъ не латинскія, а нѣмецкія книги. Иногда, впрочемъ, попадались и греческія, но опять не тѣ, которыя читались въ классѣ. Убѣдившись, благодаря Куно Фишеру, въ

*) Почти такъ же я обучился и англійскому языку. Я взялъ уроковъ [въ VI классѣ] столько, сколько было нужно, чтобы выучиться читать, писать и произносить. Потомъ, бросивъ уроки, сталъ читать „Исторію Англіи" Маколея со словаремъ. Когда я ее кончилъ, я могъ обходиться уже почти безъ словаря.

необходимости историческаго изученія философіи, я прочелъ „Исторію древней философіи“ Риттера (о Целлерѣ я тогда еще не зналъ) и принялся за изученіе діалоговъ Платона, читая ихъ параллельно въ греческомъ текстѣ изданія Аста, которое, къ счастью, нашлось въ гимназіи, и во французскомъ переводѣ Cousin'a.

Познанія мои расширялись. Умственная моя дѣятельность была чрезвычайно напряженной и поддерживалась постояннымъ духовнымъ общеніемъ съ братомъ Сергѣемъ, который нѣсколько упреждалъ меня въ философскомъ развитіи, но въ общемъ переживалъ съ нѣкоторыми варіантами стадіи умственнаго процесса, очень близкія къ только что описанному. Однако, удовлетворенія въ мысли я не находилъ, потому что самая *вѣра въ мысль* была во мнѣ основательно подточена. Исторія философіи оказалась для меня школой философскаго *скептицизма*, и то *ощущеніе пустоты*, отъ котораго я искалъ спасенія въ философствованіи, оставалось непобѣжденнымъ. Помню, какъ въ ту пору зимой во время прогулки мы съ братомъ горячо заспорили о томъ, что такое истина, и, сами того не замѣчая, очутились въ глубокомъ снѣжномъ оврагѣ, изъ коего долго не могли выбраться, благодаря сугробамъ и обледенѣвшимъ неимовѣрно скользкимъ краямъ. Споръ объ истинѣ завелъ насъ *въ тупикъ въ буквальномъ* смыслѣ слова: это было яркое, символическое изображеніе нашихъ тогдашнихъ переживаній.

Тупикъ этотъ особенно болѣзненно ощущался, когда рѣчь заходила не о теоретическихъ, а о *нравственныхъ* вопросахъ, о жизненномъ пути. Помню, напримѣръ, мучительный разговоръ ночью съ братомъ, который мы вели въ постели далеко за полночь до самаго утра. Я поднялъ вопросъ, во имя чего слѣдуетъ быть нравственнымъ. Изъ чего слѣдуетъ, что нельзя воровать или „ловить рыбу въ мутной водѣ“, безчестно наживаясь. Братъ отвѣчалъ мнѣ не доводами, а насмѣшками, стараясь меня пристыдить. Онъ обходилъ

серьезный вопросъ объ оправданіи нравственности, къ рѣшенію котораго онъ былъ такъ же мало подготовленъ, какъ и я. Мнѣ было больно, потому что теоретическое отрицаніе добра шло въ разрѣзъ съ нутромъ — съ властно обличавшимъ меня голосомъ совѣсти. Вдругъ, послышался стукъ въ дверь, и голосъ доброй, всѣми нами любимой тетушки, у которой мы иногда гостили: „говорите тише, а то вы спать никому не даете, — я слышу весь вашъ разговоръ". Меня кольнуло въ самое сердце; я почувствовалъ, что щеки у меня горятъ отъ стыда. Боже мой, какой ужасъ: если она все слышала, она сочтетъ меня за мерзавца! Мы замолчали, но дальше я за всю ночь не могъ заснуть отъ одной этой мысли, что она меня слышала.

На другой день мои опасенія разсѣялись, — она не слыхала; но я все-таки чувствовалъ камень въ груди. Въ теченіе всего этого періода жизни меня преслѣдовало мучительное чувство одиночества. Мнѣ казалось, что отъ всѣхъ людей меня отдѣляетъ цѣлая пропасть. И эта пропасть выражалась въ вопросѣ — *для чего, во имя чего*, по поводу каждаго шага, который я дѣлалъ. Я видѣлъ кругомъ безконечно веселую, жизнерадостную молодежь, въ томъ числѣ одну барышню, къ которой я былъ неравнодушенъ, и мучительно чувствовалъ, что между нами нѣтъ и не можетъ быть никакого общенія: *они* знаютъ, для чего нужно жить, во имя чего одно дозволено, а другое воспрещено. Я же *не знаю*, я ни во что не вѣрю. И я томительно молчалъ, подавленный и угнетенный непосильной для меня, шестнадцатилѣтняго, работой ума и сердца, которой не могъ даже подѣлиться съ окружающими. Къ этому присоединялись и уколы самолюбія, потому что молчанье мое, разсѣянность, или слова, сказанныя невпопадъ, — вызывали насмѣшки. Многіе меня просто считали неумнымъ. Меня съ одной стороны влекло къ этой молодежи, особенно къ женской, потому что въ ней я чувствовалъ ту утраченную мною *достовѣрность*, по которой я тосковалъ. Но съ дру-

гой стороны, невозможность общенія еще больше подчеркивала чувство утраты; а потому всякія попытки общенія усиливали тотъ гнетъ, который меня удручалъ.

Въ концѣ концовъ, я вышелъ изъ этого тупика не столько силою мысли, сколько *силою жизни и молодости*. Въ безотчетномъ влеченіи жизни я сталъ чувствовать какую то неосознанную мудрость, какой то смыслъ, который не дается уму. Въ этомъ влеченіи какъ будто открывалась мнѣ какая то утраченная умомъ достовѣрность, — достовѣрность *цѣнности жизни*. Вопреки всѣмъ сомнѣніямъ ума всякое живое и чувствующее существо увѣрено, что есть что то, ради чего безусловно стоитъ жить. Не есть ли въ этой увѣренности та правда, которой тщетно и безпомощно ищетъ мой человѣческій разсудокъ?

Помню, какъ въ связи съ этими умственными переживаніями меня безотчетно влекло къ природѣ. Отъ гнетущаго чувства пустоты и безсодержательности отвлеченной мысли я уходилъ въ дивный калужскій боръ — слушать шумъ вѣковыхъ сосенъ надъ головой: тамъ я любилъ читать и думать, зарывшись въ высокую траву. Мнѣ нужно было это ощущеніе стихійной силы жизни, выпирающей изъ земли, это море зелени. Я любилъ тѣ пантеистическія настроенія, которыя навѣвались лѣснымъ шумомъ. Они какъ будто шли навстрѣчу моимъ умственнымъ исканіямъ. Вотъ онъ, отвѣтъ на мои вопросы, думалъ я: чтобы понять, для чего нужно жить, надо почувствовать себя частью этой природы, этого великаго мірового цѣлаго, которое живетъ и во мнѣ, и въ этихъ соснахъ, и въ каждой букашкѣ. Оторванному отъ цѣлаго, замкнутому въ себѣ, человѣческому разсудку не дается эта правда міровой жизни. Чтобы постигнуть ее, нужно отдаться жизни цѣлаго, погрузиться въ нее безъ остатка. Этимъ пантеистическимъ настроеніямъ соотвѣтствовали и книги, которыя я приносилъ съ собой подъ сосны, — томы Куно Фишера о Спинозѣ и Лейбницѣ и, наконецъ, книга преиспол-

ненная вѣры въ мудрость безсознательнаго въ природѣ, — „Философія Безсознательнаго“ Эдуарда Гартмана. Книга эта очень ярко выражаетъ собою настроеніе души, утомленной умственной жизнью: ей нужно погрузиться въ безсознательное, чтобы найти вождел ѣнный покой.

Въ этомъ настроеніи сильная, красочная калужская природа служила для меня источникомъ великихъ радостей. Широкіе русскіе пейзажи на высокихъ холмахъ, увѣнчанныхъ ярко-бѣлыми церквами, сочные луга, прилегающіе къ Окѣ и Яченкѣ и, наконецъ, широкая свѣжая и чистая струя Оки среди частью песчаныхъ, частью зеленыхъ береговъ, все это радовало и поднимало душу, какъ намекъ на какое то неразгаданное пока откровеніе, неясное уму, но тѣмъ не менѣе явленное въ природѣ.

Лѣтомъ намъ приходилось жить какъ разъ въ самомъ центрѣ этихъ красотъ. Мой отецъ изъ года въ годъ занималъ губернаторскую дачу, прилегающую непосредственно къ загородному саду — на самомъ концѣ города — на вершинѣ того высокаго холма, откуда былъ видѣнъ весь обширный калужскій боръ, Лаврентьева роща, Яченка среди заливныхъ луговъ и Окская долина. Въ сумерки по вечерамъ мнѣ приходилось простаивать тамъ часами, слушая неугомонное кваканье лягушекъ, неопредѣленный гулъ или звукъ пѣсни, несущейся издали изъ лѣса подъ однообразные, похожіе на звукъ пилы, крики дергача. Это были хорошія, счастливыя минуты.

Молодость брала свое, а потому на этомъ самомъ холмѣ бывали у насъ и другія, несравненно болѣе дѣтскія радости. Весною, а иногда и лѣтомъ, почти весь нашъ классъ приходилъ по вечерамъ поиграть въ лапту. Это были минуты беззавѣтнаго, бурнаго веселья съ полнымъ забвеніемъ о какой бы то ни было философіи, простое радостное ощущеніе жизни безо всякихъ „вопросовъ“ и „отвѣтовъ“. Кто не испытывалъ такихъ минутъ, тотъ не былъ молодъ.

Еслибы у насъ ихъ не было, я не представляю себѣ, какъ мы могли бы въ столь юные годы выдержать эту жизнь въ Кантѣ, Платонѣ, Спинозѣ и Гартманѣ, жизнь, гдѣ философіи посвящалось зимою почти все остающееся отъ уроковъ время, а лѣтомъ, отъ восьми до девяти часовъ въ сутки.

Зимою тоже были эти минуты отдыха, когда, отложивши всякія мысли въ сторону, мы были просто дѣтьми. Насъ было девять человѣкъ дѣтей у родителей, отъ двухъ до семнадцати лѣтъ. И вотъ каждый день послѣ обѣда восемь изъ девяти „играли въ коршуна" въ залѣ. Составлялся длинный хвостъ и я, въ качествѣ самого здоровеннаго, запрягался „послѣднимъ цыпленкомъ", чтобы управлять хвостомъ изъ маленькихъ. Я безжалостно дергалъ этотъ хвостъ, швыряя его изъ конца въ конецъ зала при радостномъ визгѣ сестеръ и младшаго брата. Стекла дрожали отъ этой игры, стулья сами двигались, все ходуномъ ходило. А въ нижнемъ этажѣ подъ нами казалось, что потолокъ рушится отъ этой игры. Это было невообразимо весело, хотя, быть можетъ, и преувеличенно бурно. Но большимъ дѣтямъ нужно было позабыть книги и хотя на минуту отбросить въ сторону всякое подобіе философіи.

VII. Разрѣшеніе кризиса.

Въ восьмомъ классѣ мнѣ пришлось испытать новыя и очень сильныя вліянія. Съ одной стороны, я познакомился съ Шопенгауеромъ, котораго внимательно изучилъ, причемъ главное его произведеніе — „Міръ, какъ воля" я прочелъ цѣлыхъ два раза. Съ другой стороны на насъ, обоихъ братьевъ, стала оказывать сильное дѣйствіе тогдашняя русская духовная атмосфера. Какъ разъ въ 1880 — 1881 году въ духовной жизни Россіи совершились два крупныхъ событія. Съ одной стороны, именно въ эту пору нигилистическая волна достигла высшей точки своего

подъема. Отрицаніе всѣхъ вѣковыхъ устоевъ русской жизни — вѣры отцовъ и традиціонныхъ формъ государственной жизни вылилось въ практическую форму террористическихъ покушеній. А въ то же самое время достигло своего апогея вліяніе Достоевскаго, который тогда печаталъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ высшее свое произведеніе — „Братьевъ Карамазовыхъ“. Въ 1881 г. онъ произнесъ прогремѣвшую на всю Россію пушкинскую рѣчь и вскорѣ послѣ того умеръ.

Чтеніе Шопенгауера произвело на меня сильнѣйшее впечатлѣніе и нанесло рѣшительный ударъ тѣмъ неопредѣленнымъ пантеистическимъ настроеніямъ, въ которыхъ я искалъ успокоенія. Для меня стало ясно, что міросозерцаніе, для котораго нѣтъ ничего *надъ* міромъ, логически-неизбѣжно приводитъ къ пессимизму. Ярко нарисованная Шопенгауеромъ картина міровыхъ страданій наглядно показала мнѣ всю нелѣпость отождествленія мира съ Богомъ. Но съ другой стороны изъ этого же чтенія мнѣ стало ясно, что весь міръ жаждетъ той полноты бытія, которой въ немъ нѣтъ, что недостиженіе этой цѣли всего мірового стремленія и есть корень страданій живыхъ существъ: Воля алчущая, жаждущая, и не могущая насытить своей жажды, вотъ, казалось мнѣ тогда, — прекрасное изображеніе міра, какъ онъ есть въ дѣйствительности. Но этотъ миръ, томящійся въ суетѣ, предполагаетъ *полноту*, которая составляетъ цѣль его стремленія, какъ что то *другое, н ідѣ нимъ*. Одно изъ двухъ, или есть *надъ міромъ* та полнота бытія, къ которой все стремится, или суетна цѣль мірового стремленія. Иными словами, въ результатѣ чтенія Шопенгауера передо мною ставился вопросъ уже не философскій только, а опредѣленно *религіозный*. Вѣдь полнота бытія надъ міромъ — и есть Богъ. Все живое его ищетъ и къ нему стремится, но доказать его существованіе — нельзя. Можно только *повѣрить въ жизнь*, тогда нужно принять и ея религіозныя предположенія. Наоборотъ, отвергнуть эти предположенія — значитъ от-

вергнуть и осудить жизнь. *Одно изъ двухъ: или Богъ есть или жить не стоитъ.* Эта дилемма ставилась передо мною знакомствомъ съ философскимъ пессимизмомъ; и въ то же время я нашелъ ее въ ясной, опредѣленной формулировкѣ у Достоевскаго.

Къ постановкѣ религіознаго вопроса готовило меня и все предшествовавшее мое развитіе. Самоувѣренность мысли была окончательно разбита критикою; отъ прежняго ея догматическаго нигилизма не осталось и слѣда. Этотъ догматизмъ, стремившійся сдвинуть Россію съ ея основъ, и вступившій на путь кровавыхъ потрясеній, теперь производилъ на меня отталкивающее впечатлѣніе. Сомнѣніе во всемогуществѣ мысли неизбѣжно возвышаетъ цѣнность вѣры; оттого эпохи философскаго скептицизма въ исторіи такъ часто готовили путь къ религіи. Это совершенно неизбѣжно; когда развѣнчанный разумъ перестаетъ быть верховнымъ руководителемъ человѣческой жизни, руководительство легко и естественно переходитъ къ вѣрѣ.

Въ этомъ же направленіи утверждалъ насъ, обоихъ братьевъ, цѣлый рядъ вліяній. Я заинтересовался „Критикою отвлеченныхъ началъ" Соловьева, которая печаталась въ „Русскомъ Вѣстникѣ" одновременно съ „Братьями Карамазовыми". Мой братъ наткнулся на богословскія произведенія Хомякова, которыя тотчасъ были нами обоими прочтены съ жадностью. Благодаря этимъ вліяніямъ нашъ поворотъ къ религіи не остановился на промежуточной ступени неопредѣленнаго и расплывчатаго теизма, а сразу вылился въ опредѣленную и ясную форму возвращенія къ „вѣрѣ отцовъ". Въ брошюрахъ Хомякова меня плѣнило стройное, ясное изложеніе ученія о Церкви, какъ о тѣлѣ Христовомъ. Я понялъ, что только въ этомъ ученіи возможно полное преодолѣніе того раціонализма, отъ котораго я искалъ спасенія. То безсиліе человѣческаго ума, которое я позналъ горькимъ опытомъ, обусловливается тѣмъ, что познаніе истины дается человѣку

лишь черезъ *органическое, существенное* соединенiе съ Богомъ. Познать Бога можно лишь черезъ жизненное съ Нимъ *общенiе*, поскольку человѣческое естество становится воплощенiемъ Божественнаго начала. Внѣ этого общенiя человѣческiй разумъ безсодержателенъ и *пустъ*; а потому всѣ его попытки познать безусловную Истину обречены на неудачу. Но подлинною сферою Богочеловѣческаго общенiя является единственно Церковь — Тѣло Христово; тамъ Богопознанiе становится доступнымъ и отдѣльному человѣку, какъ члену Богочеловѣческаго организма.

Помню то глубокое чувство внутренняго счастья, которое проникло въ душу, когда она озарилась этимъ сознанiемъ истины Христовой. Это была радость *исцѣленiя* въ буквальномъ смыслѣ слова, потому что я переживалъ возстановленiе разрушенной *цѣлости* моего человѣческаго существа. До этой минуты все въ немъ было раздоръ и внутреннее противорѣчiе. Душа требовала полноты бытiя, какъ цѣли, — къ этой цѣли направлялось все жизненное устремленiе; а разумъ въ то же время утверждалъ, что вся эта цѣль — *иллюзiя*. Нѣтъ Бога, стало быть нѣтъ и полноты; и если нѣтъ полноты, то нѣтъ смысла, нѣтъ и цѣли. Въ этомъ отрицанiи смысла было и внутреннее противорѣчiе разума съ самимъ собою, потому что разумъ по самому существу своему есть исканiе того *смысла* существующаго, который отрицается безбожнымъ разсудкомъ.

То, что составляло источникъ моихъ мученiй въ перiодъ исканiй и сомнѣнiй, было именно *глубокое внутреннее раздвоенiе* всего существа, раздвоенiе между разумомъ и волей, внутреннiй раздоръ воли, безотчетно *хотѣвшей* Бога, и въ то же время сознательно его отрицавшей; наконецъ — внутреннiй расколъ самого разума. Это былъ полный внутреннiй распадъ, раздробленiе всего существа. И вдругъ послѣ этого ясность цѣли, безграничная увѣренность въ ея достиженiи, полный внутреннiй миръ въ сознанiи возможности непосредственнаго общенiя съ Богомъ черезъ

Церковь. И всѣ преграды, отдѣлявшія меня раньше отъ людей, вдругъ какъ то разомъ пали, исчезло томившее и угнетавшее раньше чувство одиночества. Теперь и я такъ же, какъ они, знаю, для чего я живу. И всѣ мы вмѣстѣ, какъ члены Тѣла Христова, составляемъ одно *живое цѣлое*. Не только непосредственное жизненное влеченіе, но и разумъ испытываетъ чувство глубокаго, полнаго удовлетворенія. Разумъ, блуждавшій въ тщетныхъ поискахъ достовѣрности, теперь, наконецъ, нашелъ *начало достовѣрнаго* Богопознанія. Недаромъ въ Евангеліи Іоанна говорится, что вѣчная жизнь и есть Богопознаніе.

Обращеніе къ вѣрѣ отцовъ для меня не было отреченіемъ отъ разума. Какъ разъ наоборотъ: я почувствовалъ, что *только теперь* онъ пріобрѣтаетъ то содержаніе, которое онъ доселѣ искалъ, ибо въ Церкви — Тѣлѣ Христовомъ Святое, Божественное становится фактомъ опыта. Съ этой точки зрѣнія я почувствовалъ, что Откровеніе, которое я принялъ, не есть какое либо ограниченіе и стѣсненіе для разума. Наборотъ, оно — безконечное поле для открытій мысли и потому — безконечная для нея задача. Ибо откровеніе должно быть принято не какъ мертвая буква; то, что открыто, должно быть *осознано*. Принявъ вѣру, я не только не отбросилъ философію; наоборотъ, я сталъ вѣрить въ нее такъ, какъ раньше никогда не вѣрилъ, потому что почувствовалъ ея призваніе — быть орудіемъ Богопознанія.

Въ этомъ направленіи меня поддерживало чтеніе „Критики Отвлеченныхъ Началъ" Соловьева. Начертанный имъ планъ синтеза между вѣрой и знаніемъ былъ мною принятъ съ восторгомъ, какъ программа всей христіанской мысли будущаго, которой должна быть подчинена и вся программа моей личной умственной дѣятельности. Формулированный Соловьевымъ идеалъ „цѣльнаго знанія" окрылялъ мою юношескую мечту. Я былъ твердо увѣренъ въ томъ, что между христіанскимъ откровеніемъ и научнымъ знаніемъ нѣтъ

и не можетъ быть неразрѣшимаго противорѣчія. Тѣ столкновенія и противорѣчія, которыя существуютъ въ настоящее время, обуславливаются, съ одной стороны, несовершенствомъ и неполнотою современнаго знанія, а съ другой стороны — нашимъ непониманіемъ Откровенія. Это — результаты внутренняго раздробленія грѣховной, оторванной отъ вѣчнаго источника жизни мысли, которая въ Церкви должна получить *исцѣленіе* черезъ жизненное общеніе съ Божественною жизнью и Божественнымъ умомъ. Однимъ словомъ, великій синтезъ, который долженъ произойти въ умственной сферѣ, представлялся мнѣ частичнымъ осуществленіемъ того идеала *цѣльности* жизни, который долженъ осуществиться во всемъ.

Въ общихъ чертахъ эта программа, которая была усвоена мною семнадцати лѣтъ, — остается для меня и сейчасъ идеаломъ знанія. Но конечно, относительно предѣловъ осуществимости этого идеала въ ближайшемъ будущемъ въ то время у меня было много чисто юношескихъ иллюзій, неразрывно связанныхъ съ тѣми славянофильскими мечтами, которыхъ было такъ много въ произведеніяхъ Достоевскаго и въ раннихъ произведеніяхъ Владиміра Соловьева. Я вѣрилъ въ осуществленіе „великаго синтеза“ не только въ знаніи, но и во всѣхъ сферахъ жизни, въ близкомъ будущемъ черезъ посредство Россіи, вѣрилъ въ національный мессіанизмъ „народа богоносца“. Тутъ было много такого въ чемъ мнѣ позднѣе пришлось разочароваться. Впослѣдствіи я убѣдился, что въ Новомъ Завѣтѣ *всѣ народы*, а не какой либо одинъ въ *отличіе отъ другихъ* призваны быть „богоносцами“; горделивая мечта о Россіи, какъ избранномъ „народѣ Божіемъ“, явно противорѣчащая опредѣленнымъ текстамъ посланія къ римлянамъ апостола Павла, должна была быть оставлена, какъ несоотвѣтствующая духу Новозавѣтнаго Откровенія. Но, повторяю, это была иллюзія цѣлаго поколѣнія. воспитаннаго Достоевскимъ, и сообщившаяся въ молодые годы Соловьеву, — ил-

люзія лучшихъ умовъ семидесятыхъ и начала восьмидесятыхъ годовъ.

Въ то время она была естественна и понятна. Нигилизмъ, которымъ въ то время пришлось переболѣть Россіи, былъ сочетаніемъ совершеннаго атеизма съ полнѣйшимъ космополитизмомъ. Съ одной стороны, вѣра отцовъ, противъ которой возставали нигилисты, была тѣсно связана съ цѣлымъ бытовымъ укладомъ, со всѣми русскими національными преданіями; не даромъ на нашемъ простонародномъ языкѣ слово „православный“ нерѣдко употребляется какъ синонимъ „русскаго“. Съ другой стороны, нигилизмъ отбрасывалъ вмѣстѣ съ православіемъ весь этотъ неотдѣлимый отъ него бытовой укладъ. Это былъ чисто интернаціоналистическій идеалъ, который не считался съ требованіями мѣста и времени и выводился изъ требованій разума. Поэтому совершенно естественно, что въ борьбѣ противъ нигилизма возвратъ къ вѣрѣ сочетался съ националистической реакціей. Возрожденіе вѣры въ народную святыню, надъ которой издѣвался нигилизмъ, само собой связалось съ преувеличенной оцѣнкой *народа*, вѣками чтившаго и охранявшаго эту святыню.

Я живо помню, какъ зародилась эта націоналистическая струя въ моемъ собственномъ настроеніи. Для меня, какъ и для всѣхъ моихъ сверстниковъ, нигилистическая эпоха была періодомъ опредѣленно выраженнаго презрѣнія ко всему русскому. И православіе русскаго народа, и его монархизмъ казались намъ проявленіями дикости, варварства и невѣжества. Тогдашнее народничество дѣлало исключеніе только для сельской общины, въ которой оно видѣло зародышъ будущаго соціалистическаго строя. Для меня же не существовало и это исключеніе: община, какъ и все русское, представлялась мнѣ лишь проявленіемъ нашей бытовой отсталости. Иными словами, нигилизмъ въ томъ видѣ, какъ я его переживалъ, привелъ меня къ полной утратѣ родины. Послѣ всѣхъ описанныхъ

здѣсь переживаній войны 1877 — 1878 года это былъ переломъ необычайно рѣзкій и крутой.

Нужно ли объяснять, что при этихъ условіяхъ возвращеніе къ вѣрѣ было вмѣстѣ съ тѣмъ и возвращеніемъ къ родинѣ. Всѣ тѣ чувства, которыми я жилъ въ дѣтскіе и отроческіе годы, вдругъ разомъ ожили и воскресли! Настроеніе мое опять стало близкимъ къ тому, которое я испытывалъ въ 1877 году при слушаніи Высочайшаго манифеста о войнѣ. И вся послѣдующая умственная работа непосредственно примкнула къ этому настроенію. „Великій синтезъ", осуществленіе правды Христовой въ жизни народовъ вѣдь это органическое продолженіе того дѣла, которое дѣлала Россія, когда она сражалась за освобожденіе христіанскихъ народовъ и жертвовала собою ради торжества Креста надъ полумѣсяцемъ! Нужно ли удивляться, что въ борьбѣ противъ отрицателей и хулителей Россіи мы была наклонны къ ея идеализаціи! Совершенно то же мы видимъ у Достоевскаго. И у него мысль о народѣ „богоносцѣ" высказывается впервые какъ разъ въ романѣ „Бѣсы", гдѣ безпощадно бичуются нигилисты и непосредственно противуполагается всему нигилистическому движенію. Неудивительно, что въ насъ, какъ и вообще въ значительной части образованнаго русскаго общества того времени, это націоналистическое настроеніе окрѣпло подъ впечатлѣніемъ совершившагося 1-го Марта цареубійства.

Борьбою противъ нигилизма объясняются и націоналистическія преувеличенія этого настроенія. Преувеличенія у меня выражались въ особенности въ ожиданіи чудесъ отъ русскаго національнаго творчества въ искусствѣ, философіи и общественности. Помню, какъ въ связи съ этимъ національизмомъ я испыталъ рецидивъ моей дѣтской страсти къ музыкѣ Чайковскаго. Увлеченіе это потомъ продолжалось въ теченіе многихъ лѣтъ, пока болѣе близкое знакомство съ Бородинымъ и Римскимъ-Корсаковымъ не открыло мнѣ глаза на подлинно русскую мелодію. Правда, и въ тѣ

юные годы еще сильнѣе дѣйствовала на меня музыка Глинки, въ которой я не видѣлъ пятенъ. Этой любви я останусь вѣренъ до конца моихъ дней; но въ зрѣлые годы мнѣ и тутъ пришлось отрѣшиться отъ того боготворенія, въ которое въ ранней молодости у меня переходило почитаніе Глинки: онъ пересталъ быть для меня высшею ступенью музыкальнаго творчества.

Таковы въ общемъ тѣ настроенія, въ которыхъ я оканчивалъ курсъ гимназіи. Въ этотъ періодъ нашей умственной жизни мы съ братомъ жили мѣсяцъ за годъ. У меня остается объ этихъ годахъ воспоминаніе какъ о самомъ плодотворномъ періодѣ моей умственной жизни. Никогда впослѣдствіи въ зрѣломъ возрастѣ мнѣ не приходилось испытывать духовныхъ переворотовъ столь головокружительныхъ и полныхъ, какъ въ эти дни ранней молодости съ пятнадцати по семнадцать лѣтъ. Бывали тогда минуты, когда казалось, душа не выдержитъ и надломится отъ этого непосильнаго напряженія мысли и чувства. Но милостію Божіей намъ обоимъ братьямъ дано было послѣ нашихъ юношескихъ блужданій выйти на большую дорогу русской философіи. Съ твердымъ намѣреніемъ посвятить нашу жизнь философіи мы оба въ 1881 году осенью поступили въ московскій университетъ.

VIII. Университетскіе годы.

Послѣ всего пережитого въ гимназіи Университетъ не могъ не произвести на меня и брата отрицательнаго впечатлѣнія. Тамъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ царствовалъ тотъ самый позитивизмъ Огюста Конта и Джона Стюарта Милля, отъ котораго мы только что отрѣшились. На юридическомъ факультетѣ, куда мы оба первоначально поступили, и на факультетѣ филологическомъ, куда вскорѣ перешелъ братъ, почти каждый профессоръ во вступительной лекціи считалъ себя обязаннымъ заплатить дань модному увлеченію. Дань эта выражалась либо въ пре-

зрительныхъ выходкахъ по адресу „пережившей себя метафизики“, либо въ стереотипныхъ, однообразно повторяемыхъ фразахъ о трехъ періодахъ развитія мысли, „теологическомъ, метафизическомъ и позитивномъ“ (по Огюсту Конту), послѣ чего профессоръ заявлялъ себя сторонникомъ позитивной философіи и приступалъ къ чтенію курса, который въ большинствѣ случаевъ имѣлъ мало общаго съ Контовой философіей. Помнится, одинъ изъ профессоровъ при этомъ чувствовалъ себя виноватымъ передъ Контомъ и счелъ нужнымъ извиняться передъ аудиторіей. Ссылаясь на то, что позитивный методъ въ его наукѣ выразился всего только въ одной брошюрѣ одного французскаго ученаго, онъ наивно признавался, что благодаря этому въ своемъ изложеніи онъ, къ сожалѣнію, вынужденъ держаться не позитивнаго, а „историко-критическаго“ метода.

Насъ съ братомъ въ особенности не могъ не поразить тотъ фактъ, что тогдашній московскій университетскій философъ, — Матвѣй Михайловичъ Троицкій, пользовавшійся авторитетомъ не только среди студентовъ, но и среди профессоровъ, былъ въ высокой степени ограниченный, а при этомъ и чрезвычайно невѣжественный въ исторіи философіи человѣкъ. Онъ уснащалъ свои лекціи дешевымъ и плоскимъ глумленіемъ надъ германскими философами; но въ то же время по всему, что онъ о нихъ говорилъ, для меня и брата было очевидно, что самая азбука нѣмецкой философіи была ему совершенно неизвѣстна. А между тѣмъ молодежь, переполнявшая его аудиторію, послѣ каждой лекціи провожала его громомъ рукоплесканій. Это насъ волновало и раздражало. Помнится, послѣ вступительной лекціи „Матвѣйки“ (такъ тогда звали студенты Троицкаго) я въ полномъ негодованіи сталъ кричать, что не апплодировать нужно, а свистать за такую лекцію. Нѣкоторые изъ студентовъ опѣшили, другіе же вознегодовали на меня.

„Должно быть есть за что хлопать, коли двѣсти

человѣкъ хлопаютъ“, язвительно замѣтилъ кто-то. „Да что же значатъ аплодисменты двухсотъ человѣкъ, ничего не знающихъ въ философіи“, горячился я. — „Да вы то откуда ее знаете“, — послышался отвѣтъ.

Изругавъ съ безвкусными шуточками „метафизику“, Матвѣйка затѣмъ очень ясно излагалъ либо логику Милля, либо современныя психологическія ученія, преимущественно англійскія, т. е. все, что онъ зналъ, при чемъ онъ достигалъ ясности, систематически пропуская всѣ трудности. Самая легкость этого изложенія льстила слушателю. Философія, какъ ее преподавалъ Троицкій, оказывалась всѣмъ по плечу, даже круглымъ невѣждамъ. Слушатель воображалъ себя на вершинѣ мудрости; и такъ какъ мудрость давалась ему легко, онъ проникался высокимъ мнѣніемъ не только о профессорѣ, но и о самомъ себѣ. Впослѣдствіи мнѣ приходилось и на другихъ примѣрахъ наблюдать то же дѣйствіе на толпу популярныхъ лекторовъ, упрощающихъ и вульгаризирующихъ философію. Вульгаризація эта всегда льститъ толпѣ; и лекторъ, преподносящій своей аудиторіи выхолощенную мудрость, если только онъ при этомъ обладаетъ даромъ яснаго изложенія; неизмѣнно пользуется шумнымъ успѣхомъ.

Философія въ то время для меня и брата была все, поэтому университетъ вообще сразу произвелъ на насъ удручающее, даже преувеличенно плохое впечатлѣніе. Мы сразу почувствовали, что философіи учиться намъ не у кого. Въ то время въ московскомъ университетѣ не было профессора, который бы зналъ Канта, Шопенгауера и Платона лучше насъ двухъ — первокурсниковъ. Не только преподаваніе философіи, — лекціи вообще производили на насъ неважное впечатлѣніе. Мы очень скоро убѣдились, что большинство профессоровъ читаетъ лекціи по старымъ просаленнымъ тетрадкамъ, повторяя изъ года въ годъ не только тѣ же мысли, но даже тѣ же *описки*. Пом-

нится, однажды въ лекціи Н. А. Звѣрева меня поразила обмолвка: *„поколѣніе смѣняется поколѣніемъ, отцы становятся на мѣсто дѣтей“*. Этотъ lapsus linguae мнѣ запомнился. И когда, годъ спустя, двоюродный братъ мой сталъ съ восхищеніемъ говорить мнѣ о только что прослушанной лекціи Звѣрева на ту же тему, я его перебилъ словами: „это про то, какъ поколѣніе смѣняетъ поколѣніе, отцы становятся на мѣсто дѣтей“. „Боже мой“, — воскликнулъ тотъ, — „неужели онъ и въ прошломъ году ту же ошибку сдѣлалъ“?

На лекціи одного профессора филолога я видѣлъ забавную сцену. Профессоръ читалъ даже не по тетрадкѣ, а по литографированнымъ запискамъ, а студенты слѣдили по тѣмъ же запискамъ, одновременно съ нимъ переворачивая страницы. Иногда, когда онъ дѣлалъ пропускъ, студенты радостно зачеркивали пропущенное. Пропуски дѣлались профессоромъ съ особой цѣлью: онъ, очевидно, хотѣлъ сбить слушателей, дѣлая видъ, что мѣняетъ курсъ. А они слѣдили за нимъ съ другою цѣлью, — прослѣдить по пропускамъ, *чего не нужно готовить къ экзаменамъ*. Иногда ему удавалось сбить слѣдившихъ за нимъ; тогда ихъ усилія — снова поймать его напоминали растерянное метаніе гончихъ собакъ, вдругъ потерявшихъ слѣдъ зайца.

Наблюдая такія сцены, каждый изъ насъ спрашивалъ себя, стоитъ или не стоитъ вообще посѣщать лекціи. Вопросъ этотъ для меня очень скоро разрѣшился въ отрицательномъ смыслѣ. Мнѣ стало совершенно яснымъ, что на лекціяхъ я не услышу рѣшительно ничего такого, чего бы я не могъ прочитать въ книгѣ или даже въ запискахъ того же профессора. А въ то же время меня тянуло домой читать философскія книги, въ которыя я все болѣе и болѣе углублялся; по сравненію съ этимъ углубленнымъ чтеніемъ слушаніе лекцій по предметамъ, отвлекавшимъ меня отъ философіи, а потому для меня не главнымъ, — было просто непроизводительной тратой времени.

И я пересталъ слушать лекціи вообще, за однимъ, впрочемъ, исключеніемъ, которое до конца университетскаго курса осталось *единственнымъ*: на первомъ курсѣ юридическаго факультета я съ увлеченіемъ слушалъ два часа въ недѣлю курсъ русской исторіи знаменитаго Василія Осиповича Ключевскаго.

Мы всѣ — его слушатели, — были до того захвачены его живой, яркой, остроумной и необыкновенно художественной рѣчью, что вопросъ о томъ, есть ли эта рѣчь и въ какой мѣрѣ въ его прошлогоднихъ литографированныхъ запискахъ какъ то не приходилъ намъ въ голову. Слушала его переполненная „Большая Словесная", — самая большая изъ тогдашнихъ университетскихъ аудиторій, вмѣщавшая до трехсотъ человѣкъ. И я не помню, чтобы за нимъ кто нибудь слѣдилъ по запискамъ, кромѣ его издателей. На лекціяхъ Ключевскаго было не до того: съ него не спускали глазъ, чтобы не пропустить его необыкновенно выразительной мимики. И такъ свѣжо казалось всякое его слово, точно онъ тутъ же творитъ на кафедрѣ. Вотъ онъ задумывается, прищуриваетъ глаза, какъ будто ищетъ выраженія, даже заикается. И вдругъ какъ молнія вылетаетъ изъ его устъ мѣткая острота; вся аудиторія катается со смѣху, а онъ одинъ остается невозмутимо серьезнымъ. Или вдругъ послѣ паузы, заставляющей ждать, затаивъ дыханіе, что онъ скажетъ, онъ двумя — тремя яркими художественными чертами рисуетъ историческій образъ какого нибудь царя Алексѣя Михайловича или Петра Великаго. Вотъ уже тридцать восемъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я прослушалъ этотъ курсъ, а образы, врѣзавшіеся въ память, все такъ же живутъ въ моемъ умѣ. И все такъ же связываются ихъ историческія черты съ улыбкой, жестами, со всею вообще изумительно выразительною мимикой Василія Осиповича. Другого такого художника на кафедрѣ я потомъ не встрѣчалъ въ теченіе всей моей жизни.

А между тѣмъ, когда весною того же года мнѣ

пришлось готовиться къ экзаменамъ по литографированнымъ лекціямъ того же Ключевскаго, я сдѣлалъ неожиданное и въ то время даже какъ будто огорчившее меня открытіе. Все, что въ устномъ изложеніи его казалось мнѣ импровизаціей, было на лицо въ запискахъ — слово въ слово — все тѣ же до черточки штрихи и все тѣ же остроты. Я справлялся: тѣ же остроты и штрихи имѣлись уже въ изданіяхъ болѣе раннихъ: они же вошли въ изданіе болѣе позднее и даже въ печатный курсъ. Ключевскій не только не „творилъ на кафедрѣ", какъ намъ казалось. Онъ просто читалъ по писанному, но умѣлъ дѣлать это такъ ловко, что никому изъ насъ это не приходило въ голову. Онъ былъ не только изумительнымъ профессоромъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и исключительно талантливымъ актеромъ. Драматическій талантъ и въ самомъ дѣлѣ составляетъ необходимый элементъ таланта лекторскаго, особенно для историка. Безъ этого таланта трудно такъ загипнотизировать аудиторію, какъ это дѣлалъ Ключевскій.

Я часто себя спрашивалъ, умалялось ли достоинство его лекцій тѣмъ, что они повторялись, и пришелъ къ отрицательному выводу. То, что могло быть недостаткомъ для другого, для него было достоинство. Повторявшіяся изъ года въ годъ выраженія, черточки, остроты, были до того художественны и мѣтки, что *мѣнять* ихъ было бы преступленіемъ. Требовать, чтобы Ключевскій каждый годъ характеризовалъ царя Алексѣя или императора Петра въ иныхъ выраженіяхъ — было бы такъ же безразсудно, какъ ждать отъ Льва Толстого, чтобы онъ *своими словами* пересказывалъ „Войну и миръ" или „Анну Каренину". Есть художественные образы и художественныя произведенія, въ которыхъ необходима каждая черта, всякая краска и даже малѣйшій оттѣнокъ. Мѣнять что бы то ни было значило бы только портить или даже кощунствовать.

Не все, конечно, но очень многое въ лекціяхъ Ключевскаго принадлежало къ художественнымъ произведеніямъ такого типа.

Лекціи Ключевскаго вообще — единственная *крупная* цѣнность, которую я вынесъ изъ московскаго университета. Не могу, однако, сказать, чтобы и эти лекціи оказали опредѣляющее вліяніе на ходъ моего умственнаго развитія или міросозерцанія. Ключевскій не принадлежалъ къ числу тѣхъ лекторовъ, *воспитателей* молодежи, какимъ былъ, по преданію, Грановскій. Когда мы слышимъ о комъ либо: „онъ былъ типическій слушатель Грановскаго", — у насъ возникаетъ представленіе объ опредѣленно идеалистическомъ благородномъ духовномъ обликѣ и направленіи — о западникѣ сороковыхъ годовъ въ лучшемъ значеніи слова. Когда же мы говоримъ: „такой то былъ слушателемъ Ключевскаго", — это не характеризуетъ ни направленія, ни міросозерцанія, ни тѣмъ болѣе — духовнаго облика. Ключевскій былъ не воспитателемъ, а большимъ ученымъ и яркимъ художникомъ лекторомъ. Но каково было его міросозерцаніе — мы, его слушатели, сами хорошенько не знали. Врядъ ли вообще это міросозерцаніе было очень яснымъ и опредѣленнымъ. Знаю только одно: въ немъ совершенно не было ходячей пошлости тогдашняго позитивизма: для этого Ключевскій былъ слишкомъ крупнымъ человѣкомъ. А кромѣ того, для позитивизма онъ былъ и *слишкомъ русскимъ человѣкомъ.* Онъ любилъ родное и глубоко чувствовалъ русскую душу. Разъ въ жизни, но, кажется мнѣ, всего одинъ только разъ, дано ему былъ заглянуть и въ интимную религіозную, мистическую ея глубину. Случилось это въ тотъ день, когда онъ создалъ свою вдохновенную лекцію о преподобномъ Сергіи Радонежскомъ. Эта лекція безъ сомнѣнія — самое горячее, самое глубокое и проникновенное изо всего, что онъ написалъ, *самое духовное* изо всѣхъ его произведеній. Но это еще не міросозерцаніе, а скорѣе зачатокъ того міросозерцанія, которое поднимаетъ Ключевскаго высоко не только надъ его коллегами — московскими профессорами, но и *надъ нимъ самимъ.* Еслибы весь курсъ Ключевскаго былъ

составленъ въ такомъ духѣ, онъ былъ бы не только профессоромъ, но учителемъ жизни, воспитателемъ. Къ сожалѣнію, однако, эта лекція о преподобномъ Сергіи выражаетъ собою не центральную линію его умственной жизни; она обозначаетъ лишь ту предѣльную высоту, на которую онъ *могъ подняться*. Этого подъема было достаточно, чтобы освѣтить всю русскую исторію *изнутри*, изъ той глубины духа, изъ которой раньше никому другому, даже самому Ключевскому, не дано было ее освѣтить. Но это былъ единственный случай, когда мысль его проникла въ самый *центръ* духовной жизни его народа, тогда какъ прежде и послѣ того онъ удивительно талантливо и ярко изображалъ *периферію* этой жизни.

Что сказать о прочихъ профессорахъ, съ которыми мнѣ приходилось имѣть дѣло. Если Ключевскій, стоявшій головой выше всѣхъ, не могъ быть воспитателемъ, то другіе и подавно. Въ огромномъ большинствѣ они были посредственностями. Тотъ изъ нихъ, кто на первомъ курсѣ всѣхъ больше заставлялъ работать, Н. П. Боголѣповъ, былъ опредѣленно не талантливый и скучный лекторъ. Тотъ, кто его не слушалъ, а только читалъ, не проигрывалъ, а только выигрывалъ. Больше пользы могли бы приносить тѣ практическія занятія, которыя онъ съ нами велъ. Онъ задавалъ намъ рефераты по римскому праву, которые затѣмъ читались и обсуждались въ аудиторіи. Темой служили какіе либо фрагменты изъ „Дигестъ" Юстиніана: мы должны были ихъ читать по-латыни, а затѣмъ составлять писменный комментарій къ прочитанному въ связи съ характеристикой мышленія римскихъ юристовъ на основаніи тѣхъ же фрагментовъ.

Такая работа по первоисточникамъ могла бы быть очень хороша и полезна; но къ сожалѣнію Боголѣпову недоставало того огонька, который былъ нуженъ, чтобы насъ зажигать, — не было и достаточной широты пониманія. Не ограничиваясь однимъ изложеніемъ источника, я попытался прослѣдить, что новаго

дало творчество римскихъ юристовъ по сравненію съ ранѣе изданными законодательными нормами въ той области права, о которой шла рѣчь въ рефератѣ. Это были, несомнѣнно, наиболѣе самостоятельныя, живыя, а потому и наиболѣе цѣнныя страницы всего реферата. Боголѣповъ же, который въ общемъ былъ доволенъ рефератомъ, сдѣлалъ какъ разъ на этихъ страницахъ лаконическую помѣтку: „весь этотъ очеркъ не требовался темою автора“. Что же, значитъ, требовалось? Не самостоятельное мышленіе о томъ, что новаго дали юристы, а только ученическій пересказъ ихъ мыслей. Вести такъ занятія — значитъ не направлять, а расхолаживать и убивать мысль.

Изъ другихъ преподавателей на I курсѣ молодой въ то время доцентъ Н. А. Звѣревъ, читавшій энциклопедію права, былъ человѣкъ способный съ несомнѣннымъ даромъ слова; но онъ не обладалъ ни тѣмъ философскимъ образованіемъ, ни тѣми широкими познаніями въ юриспруденціи, которыя могли бы сдѣлать его цѣннымъ руководителемъ. А кромѣ того, онъ былъ человѣкъ исключительно лѣнивый. Оттого то его курсъ повторялся изъ года въ годъ безо всякихъ измѣненій и съ тѣми же ошибками. Составлялся этотъ курсъ въ юные годы, когда Звѣревъ былъ позитивистомъ по воззрѣніямъ. Потомъ онъ переросъ позитивизмъ, сталъ вѣрить въ безсмертіе души и написалъ въ 1881 году прекрасный рефератъ о „Братьяхъ Карамазовыхъ“. Но на его курсѣ этотъ переломъ такъ и не отразился. По курсу я счелъ Звѣрева за позитивиста, чѣмъ онъ въ моментъ моего съ нимъ знакомства въ сущности уже не былъ. Происходило это частью отъ отсутствія философской подготовки, частью же, какъ сказано, отъ лѣни. Не дай Богъ профессору быть лѣнивымъ: это ведетъ къ тому, что онъ въ концѣ концовъ такъ обрастаетъ собственными словами, что не въ состояніи себя отдѣлить отъ нихъ. Такъ случилось и со Звѣревымъ. Составивъ курсъ въ дни позитивнаго своего періода, онъ потомъ настолько да-

леко отошелъ отъ позитивизма, что долженъ былъ бы продумать сызнова все построеніе, — не отдѣльныя части курса, а весь ходъ его мыслей. Но на это у него не хватило ни энергіи, ни пороха. Впослѣдствіи, уже будучи профессоромъ, я видѣлъ позднѣйшія литографированныя изданія Звѣревскаго курса и не замѣтилъ въ нихъ слѣдовъ той коренной переработки, которая требовалась. Научная мысль его преждевременно застыла и въ концѣ концовъ совершенно перестала служить выраженіемъ его внутренней жизни.

Изъ извѣстныхъ въ то время профессоровъ Александръ Ивановичъ Чупровъ, читавшій намъ Политическую Экономію на первомъ курсѣ, пользовался заслуженной репутаціей талантливаго ученаго и прекраснаго лектора и былъ весьма любимъ молодежью. Но лично я въ то время не любилъ его, потому что онъ былъ однимъ изъ самыхъ яркихъ представителей осточертѣвшаго мнѣ англо-французскаго позитивизма. У него во вступительныхъ лекціяхъ было въ особенности много Контовскаго пафоса, когда заходила рѣчь о трехъ періодахъ мышленія. Въ его характеристикѣ позитивнаго метода въ соціальныхъ наукахъ я узнавалъ цѣлыя страницы изъ Милля. Всего этого было достаточно, чтобы вырыть цѣлую пропасть между нами, тѣмъ болѣе, что въ то время меня не влекло къ политической экономіи Впослѣдствіи, однако, я жалѣлъ, что юношеская нетерпимость помѣшала мнѣ подойти къ Чупрову поближе и разсмотрѣть его, какъ слѣдуетъ. По всему, что я о немъ слышалъ, я составилъ себѣ о немъ представленіе, какъ о человѣкѣ исключительной доброты и рѣдко привлекательнаго душевнаго облика. Да и самый позитивизмъ, повидидимому, выражалъ не центръ, а периферію его существа. Какъ я узналъ потомъ, этотъ позитивизмъ не мѣшалъ ему быть вѣрующимъ христіаниномъ. Совмѣщаются же такія противорѣчія въ человѣческой душѣ. Я, разумѣется, много потерялъ оттого, что не былъ знакомъ съ нимъ ближе. Но по своему умствен-

ному складу и направленію онъ и при близкомъ со мною знакомствѣ не могъ бы быть моимъ руководителемъ. Кромѣ названныхъ профессоровъ на первомъ курсѣ читалъ Исторію Русскаго Права Мрочекъ-Дроздовскій, — лекторъ бездарный и къ тому же старавшійся разсмѣшить аудиторію плоскими остротами, да протоіерей Сергіевскій, — лицо анекдотическое; замысловатыя фразы его учебника и лекцій цитировались всѣми студентами, какъ классическіе образцы витіеватой безсмыслицы. Упоминая о Дарвинѣ, онъ говорилъ: „матеріализмъ дѣлаетъ такіе же скачки и прыжки, какъ его горилла и шимпанзе". Французская революція, по его мнѣнію, „обошлась не безъ многихъ потрясающихъ частныхъ дѣйствій, сохраненныхъ исторіей какъ бы въ ознаменованіе того, что въ будущемъ всякій художникъ встрѣтится съ плодами плотскихъ своихъ прегрѣшеній". Суть римской эпохи онъ характеризовалъ словами: „за летучими фалангами Македоніи послѣдовали замкнутыя карре — отображенія міроустроящаго значенія Рима." Учиться тутъ было, разумѣется, нечему.

Всѣ эти впечатлѣнія могли только укрѣпить насъ съ братомъ въ принятомъ рѣшеніи — не ходить въ университетъ. Заниматься дома философіей мы могли съ несравненно большей пользою. Въ началѣ нашего пребыванія въ университетѣ передъ нами сталъ вопросъ о перемѣнѣ факультета. Мы оба мечтали о философской кафедрѣ по окончаніи университетскаго курса; но какъ разъ на юридическомъ факультетѣ такой кафедры не было: была только кафедра философіи и энциклопедіи права. Въ концѣ концовъ это и заставило моего брата Сергѣя перейти на филологическій факультетъ, какъ единственный, гдѣ кафедра чистой философіи имѣлась. Въ теченіе нѣкотораго времени колебался и я, но въ концѣ концовъ остался на юридическомъ факультетѣ изъ страха, что филологическія науки, сами по себѣ меня не привлекавшія, отвлекутъ меня отъ любимыхъ мною философскихъ занятій и

отнимутъ слишкомъ много времени. Отъ университета я требовалъ, главнымъ образомъ, одного: *чтобы онъ не мѣшалъ мнѣ заниматься философiей.* Съ этой точки зрѣнiя юридическiй факультетъ былъ несравненно удобнѣе. Тамъ можно было посвящать два мѣсяца въ году на приготовленiе къ экзаменамъ по литографированнымъ лекцiямъ и въ теченiе всего остального времени объ университетской наукѣ и не думать. Почти такъ я и поступалъ: только на первомъ курсѣ я участвовалъ въ практическихъ занятiяхъ по Римскому Праву у Боголѣпова, а на слѣдующихъ курсахъ подавалъ курсовыя сочиненiя. Зато философiей я занимался дома отъ восьми до десяти часовъ въ день.

Въ сущности это былъ почти полный разрывъ съ университетомъ. Помнится, изъ университетскихъ моихъ товарищей я зналъ только тѣхъ, которые обычно экзаменовались въ одной со мною группѣ съ фамилiями на С. и на Т. — наиболѣе близкими мнѣ по алфавиту. Товарищескихъ отношенiй на юридическомъ факультетѣ въ то время и вообще было очень мало. Такiя отношенiя завязываются между студентами или на почвѣ общихъ занятiй, въ особенности въ семинарiяхъ, или же на почвѣ общаго участiя въ безпорядкахъ. Занятiя въ мое время вообще не процвѣтали. Безпорядковъ тоже не было. Моему поступленiю въ университетъ предшествовалъ перiодъ, довольно бурный; но какъ разъ мои университетскiе годы (1881 — 1885), начавшiеся непосредственно послѣ цареубiйства, были эпохою полнаго затишья. Трагическiй конецъ Александра II-го, убитаго какъ разъ въ день подписанiя имъ акта о включенiи выборныхъ отъ земствъ въ Государственный Совѣтъ, вызвалъ общее возмущенiе. Среди университетской молодежи тоже чувствовалось разочарованiе въ революцiи; признаковъ революцiоннаго броженiя не было и слѣда; а общее отношенiе студентовъ къ университету и наукѣ было весьма поверхностное. На первомъ курсѣ студенты, которымъ были новы „всѣ

впечатлѣнія бытія“ собирались въ аудиторіяхъ любимыхъ профессоровъ въ довольно большомъ количествѣ и по окончаніи каждой лекціи усердно хлопали. Но апплодисменты эти не имѣли ровно никакого значенія. Студентъ-первокурсникъ послѣ надоѣвшихъ ему гимназическихъ уроковъ первоначально вноситъ въ аудиторію какое то праздничное настроеніе. Онъ радуется почетному наименованію „милостивые государи“, коимъ профессора величаютъ студентовъ и непривычно-гладкой рѣчи профессора: онъ готовъ апплодировать чему угодно, лишь бы профессоръ говорилъ бойко, гладко и громкими фразами. Самыя противоположныя мысли вызываютъ хлопки въ одной и той-же аудиторіи. Но скоро, очень скоро лекціи надоѣдаютъ, и тогда аудиторія пустѣетъ, каждый себя спрашиваетъ: „зачѣмъ я буду слушать, когда все то же или почти все то же я могу прочесть въ литографированномъ или печатномъ курсѣ“. Восторжествовать надъ этимъ аргументомъ можетъ лишь тотъ профессоръ, который обладаетъ исключительнымъ лекторскимъ талантомъ. Профессоровъ среднихъ и даже хорошихъ, но не блестящихъ слушаютъ лишь въ томъ случаѣ, если за непосѣщеніе лекцій они ставятъ двойки на экзаменахъ. Между постоянными слушателями университетскихъ курсовъ всегда есть такіе, которые ходятъ на лекціи только для того, *чтобы показаться на глаза профессору*. Польза отъ такого слушанія лекцій весьма сомнительна. Профессорамъ приходится часто замѣчать, что многіе изъ этихъ профессіональныхъ посѣтителей лекцій отвѣчаютъ изъ рукъ вонъ плохо, а рядомъ съ этимъ лица, никогда ихъ не посѣщающія, даютъ блестящіе отвѣты.

Помнится, такое отрицательное отношеніе наше къ университету смущало многихъ близкихъ намъ людей изъ старшихъ. Какъ то разъ, когда мой братъ Сергѣй ораторствовалъ на тему о томъ, насколько занятія на дому полезнѣе слушанія лекцій, онъ былъ прерванъ замѣчаніемъ одной тетушки: „Самъ же ты

хочешь быть профессоромъ; что ты скажешь, если у тебя аудиторія будетъ пуста". — „Что я скажу" — отвѣчалъ онъ, — „я скажу моимъ слушателямъ: ступайте вонъ, лѣнтяи, берите примѣръ съ тѣхъ вашихъ товарищей, которые сидятъ дома и занимаются." Разумѣется, въ этихъ словахъ, сказанныхъ дразненія ради, была доля юношескаго преувеличенія. Однако, и юношескія впечатлѣнія и позднѣйшій профессорскій опытъ убѣдилъ меня въ весьма относительной пользѣ лекцій... Такіе образцы живого слова, какими были лекціи Ключевскаго, — слишкомъ исключительное явленіе, чтобы на нихъ можно было строить обобщенія о пользѣ лекцій вообще. Оставимъ въ сторонѣ факультеты экспериментальные, гдѣ достаточнымъ оправданіемъ лекцій служатъ производимые на нихъ опыты и демонстраціи, и спросимъ себя, кому нужны лекціи на факультетахъ юридическомъ и филологическомъ. Молодые люди, которые обладаютъ достаточнымъ уровнемъ развитія и подготовкою, чтобы съ толкомъ заниматься на дому, могутъ прекрасно безъ нихъ обойтись. Есть, однако, и другіе, неподготовленные, которые не знаютъ, какъ взяться за научныя занятія: для такихъ лекціи полезны, потому что, если они не будутъ слушать професора въ аудиторіи, они дома все равно ничего не будутъ дѣлать. Кромѣ того, лекція полезна какъ мѣсто встрѣчи между профессоромъ и студентомъ; разговоры, возникающіе между ними *по поводу* прочитаннаго, часто бываютъ несравненно важнѣе самой лекціи: они даютъ толчокъ умственному развитію слушателей и служатъ точкой отправленія для практическихъ занятій. Эти послѣднія, гдѣ студентъ уже не пассивный слушатель, а активный научный работникъ, должны составлять центръ правильно поставленнаго университетскаго преподаванія. Но объ этомъ я предоставляю себѣ поговорить въ дальнѣйшемъ, когда дойдетъ до моихъ профессорскихъ воспоминаній.

Въ концѣ концовъ мои отношенія къ универси-

тету упростились настолько, что я мѣсяцами живалъ зимою въ Калугѣ, пріѣзжая въ Москву или ради экзамена или же для дѣлъ, не имѣвшихъ прямого отношенія къ университету. Начиная со второго курса университетъ не игралъ почти никакой роли въ моей жизни. Есть, впрочемъ, одно значительное воспоминаніе, о которомъ я долженъ здѣсь разказать, такъ какъ оно связано съ московскимъ университетомъ. Будучи студентомъ второго курса, я познакомился съ профессоромъ Максимомъ Максимовичемъ Ковалевскимъ, къ которому съ тѣхъ поръ я сохранилъ сердечную привязанность до конца его дней.

Совершилось это знакомство не на лекціи, а на экзаменѣ, такъ какъ до экзамена я на лекціяхъ Ковалевскаго не бывалъ. Онъ пользовался репутаціей блестящаго лектора, но на второмъ курсѣ мое убѣжденіе въ безполезности посѣщенія лекцій вообще было настолько крѣпкимъ, что я уже не интересовался вопросомъ, какъ кто читаетъ. Помнится, какъ то разъ въ серединѣ года въ большомъ театрѣ мимо моего кресла въ партерѣ прошла видная толстая фигура какого то незнакомаго мнѣ человѣка.

„Что же ты не кланяешься“ — спросилъ мой сосѣдъ студентъ, „или ты не знаешь Ковалевскаго: вѣдь онъ на твоемъ курсѣ читаетъ“. Это была первая наша встрѣча. Вторая послѣдовала на экзаменѣ Государственнаго Права Европейскихъ державъ. Помнится, я очень заинтересовался литографированнымъ курсомъ Максима Максимыча и приготовился по немъ прекрасно, а при этомъ и сверхъ курса обнаружилъ нѣкоторую начитанность. Ковалевскій остался очень доволенъ моимъ отвѣтомъ; повидимому, я произвелъ на него хорошее впечатлѣніе: потомъ, при встрѣчѣ съ моимъ братомъ Петромъ, слушавшимъ его четырьмя годами раньше, онъ много говорилъ ему о моемъ „выдающемся“ отвѣтѣ, спрашивалъ, не желаю ли я заниматься государственнымъ правомъ, предлагалъ свои услуги — помочь мнѣ въ моихъ занятіяхъ и выражалъ желаніе со мною познакомиться.

Въ то время я уже задумывался о томъ, чтобы по окончанiи курса остаться при университетѣ. А знакомство съ талантливымъ и умнымъ М. М. Ковалевсимъ само по себѣ обѣщало быть чрезвычайно интереснымъ. Рѣчь шла не о руководствѣ въ философскихъ занятiяхъ, а потому предубѣжденiе противъ „позитивистовъ“ въ данномъ случаѣ не имѣло силы. Напротивъ, какъ разъ въ то время, знакомясь съ политическими трактатами Платона и Аристотеля, я убѣдился въ необходимости изучать политическiе идеалы философовъ въ связи съ исторiей государственныхъ учрежденiй Грецiи и надѣялся получить отъ Ковалевскаго указанiя на литературу предмета. Ковалевскiй не былъ знатокомъ древности, но всетаки далъ мнѣ кое-какiя указанiя, а для другихъ отослалъ меня къ профессору греческаго языка А. И. Шварцу (впослѣдствiи министру народнаго просвѣщенiя). Въ связи съ этими разговорами возникла моя юношеская работа „О рабствѣ въ древней Грецiи“, за которую Ковалевскiй впослѣдствiи оставилъ меня при университетѣ. Но главнымъ прiобрѣтенiемъ въ данномъ случаѣ были, разумѣется, не эти внѣшнiя результаты нашихъ отношенiй, а знакомство съ Ковалевскимъ само по себѣ.

Максимъ Максимовичъ былъ не только рѣдкимъ, но и единственнымъ въ своемъ родѣ типомъ: въ немъ яркiя бытовыя черты большого русскаго барина сочетались съ умственнымъ складомъ свободомыслящаго образованнаго европейца конца XIX столѣтiя Онъ былъ позитивистъ, какъ и почти всѣ профессора московскаго университета того времени, но этотъ позитивизмъ былъ въ сущности внѣшнимъ его существу, чѣмъ то вродѣ принятаго покроя платья, которое онъ носилъ потому, что тогда всѣ его носили. Но не будучи философомъ, онъ мало интересовался философскими вопросами и къ своему позитивизму относился совершенно равнодушно; обычнымъ кажденiемъ Огюсту Конту на вступительныхъ лекцiяхъ онъ совершенно не грѣшилъ. А вѣры въ непогрѣшимость позитивистическаго догмата въ немъ не было и слѣда.

Помнится, когда я познакомился съ нимъ, я счелъ нужнымъ откровенно ему сказать, что по философскимъ воззрѣніямъ я совершенно ему чуждъ и примыкаю къ направленію Достоевскаго и Владиміра Соловьева. Я думалъ, что онъ тотчасъ сопричислитъ меня къ пережитому „теологическому періоду мысли" и, по обычаю того времени, за это „запрезираетъ". Ничуть не бывало: онъ мнѣ сказалъ, что онъ „большой пріятель" съ Владиміромъ Соловьевымъ, что они часто встрѣчались въ Британскомъ Музеѣ въ Лондонѣ, гдѣ вмѣстѣ занимались, и началъ разсказывать съ хохотомъ, какъ Соловьевъ пугалъ его, изображая чорта. И интересъ его ко мнѣ нисколько не ослабѣлъ оттого, что я принадлежалъ къ „другому лагерю".

Различію „лагерей" онъ, вообще, не придавалъ значенія частью потому, что былъ величайшимъ скептикомъ по отношенію ко всякой философіи, въ томъ числѣ и по отношенію къ позитивизму, который онъ исповѣдывалъ, частью же вслѣдствіе своего природнаго добродушія и интереса къ людямъ, безотносительно къ тому, во что они вѣрили. Это былъ человѣкъ на рѣдкость терпимый. Помню, какъ лѣтъ тридцать спустя послѣ перваго нашего знакомства, когда мы вмѣстѣ служили въ Государственномъ Совѣтѣ, онъ приставалъ ко мнѣ, чтобы я написалъ статью для „Вѣстника Европы", выходившаго тогда подъ его редакціей. „Максимъ Максимычъ, — сказалъ я, — вѣдь вы же знаете мое направленіе: я могу писать только въ религіозномъ духѣ". — „Ну, такъ что же такое, — возразилъ онъ, — развѣ я такой фанатикъ, чтобы вѣрить въ непогрѣшимость моихъ собственныхъ мнѣній. Я же знаю, что вы напишете интересно, а мнѣ только это и нужно". Таковъ же онъ былъ въ политикѣ. Помнится, у насъ уже въ эпоху моего студенчества люди различнаго политическаго образа мыслей чуждались другъ друга и чувствовали себя стѣсненными, когда попадали въ общество политическихъ противниковъ. Онъ — ничуть не бывало: будучи ли-

бераломъ или даже радикаломъ по своимъ мнѣніямъ, онъ предпочиталъ разговаривать съ отъявленными консерваторами, чѣмъ съ единомышленниками. „Мнѣ скучно разговаривать съ либералами и радикалами“, — признавался онъ какъ то разъ при мнѣ, — „*я знаю заранѣе, что они скажутъ.* То ли дѣло консерваторы: что они скажутъ — это мнѣ совершенно неизвѣстно. Съ ними куда интереснѣе“. Впослѣдствіи, когда послѣ первой революціи у насъ впервые зародились политическія партіи, — въ междупартійныхъ отношеніяхъ господствовалъ духъ узкой сектантской нетерпимости. Бывало такъ, что родные братья ссорились и расходились изъ за того, что одинъ былъ кадетомъ, а другой октябристомъ. Ковалевскому этотъ узко-партійный духъ былъ не только чуждъ, но и непонятенъ. Онъ былъ готовъ всѣхъ безъ различія партій заключить въ свои широкія объятія. Никакая партійная дисциплина не могла устоять противъ его добродушія. Партійности противилась его широкая натура русскаго барина, любившаго просторъ. „Терпѣть не могу партійной дисциплины“, — говаривалъ онъ, — „я могу состоять только въ такой партіи, гдѣ ея нѣтъ“.

Широта отражалась на томъ обществѣ, которое его посѣщало. Въ Москвѣ въ мое студенческое время у него можно было встрѣтить студента, профессора, гастролирующаго нѣмецкаго актера, который былъ его пріятелемъ, общественнаго дѣятеля безотносительно къ направленію. Заграницей у него на дачѣ въ Болье я встрѣчался съ извѣстнымъ соціалистомъ Вандерфельде, но у него же я встрѣчался съ весьма консервативными русскими. И надо сказать, что съ людьми всякаго общественнаго положенія и возраста отъ молодыхъ и до старыхъ онъ умѣлъ быть очаровательнымъ. Неизмѣнно бывали имъ очарованы студенты, приходившіе къ нему на домъ въ назначенные для того пріемные дни. Чѣмъ это достигалось? Враги Ковалевскаго, какъ и враги всякаго популярнаго профессора, говорили, что онъ „популярничалъ“. Ничуть не

бывало: никакого подлаживанья подъ радикализмъ у него не было, но была природная любезность и, если хотите, извѣстное кокетство ума. Онъ обладалъ замѣчательною памятью на лица, живо помнилъ, кто чѣмъ занимался и кто чѣмъ интересовался. „Я слышалъ отъ профессора такого то, что Вы нашли корни монадологіи Лейбница въ ученіи Парацельза“, — говорилъ онъ молодому студенту при первомъ съ нимъ знакомствѣ. Тотъ былъ, разумѣется, чрезвычайно пораженъ и польщенъ такою своею „извѣстностью среди профессоровъ“. Вставлять такія словечки въ разговоръ Ковалевскій былъ великій мастеръ. Это кокетство у него не было разсчитано: оно зарождалось у него такъ же непроизвольно, инстинктивно, какъ у женщины, которая хочетъ нравиться. Иногда, бывало, онъ спроситъ у студента его мнѣнія о книгѣ, которой *онъ, Ковалевскій, еще не прочелъ.* Тотъ начнетъ излагать, а Ковалевскій ему въ отвѣтъ: „какъ разъ то же самое, что Вы, говорилъ мнѣ профессоръ Шварцъ“, и студентъ оставался польщенъ совпаденіемъ его оцѣнки съ оцѣнкою профессора.

Но и помимо этого кокетства Максимъ Максимовичъ плѣнялъ старыхъ и молодыхъ своею жизнерадостностью и заразительной, неистощимой веселостью. Онъ могъ мертваго развеселить. Помнится, по вступленіи въ Государственный Совѣтъ, мы — нѣсколько профессоровъ — рѣшили сдѣлать визитъ всѣмъ нашемъ коллегамъ, для чего мы наняли карету. Занятіе это сулило намъ величайшую тоску и продолжалось по нѣскольку часовъ подрядъ, притомъ не одинъ день. Но въ первый день, благодаря участію Ковалевскаго въ поѣздкѣ, въ каретѣ все время стоялъ неудержимый хохотъ. Потомъ объѣздъ продолжался почему то безъ него и былъ невыносимо скученъ.

При всемъ этомъ у него была та привѣтливость, доброта и въ особенности сердечность, за которую его нельзя было не любить. Конецъ его показалъ, что въ сердцѣ его была жизненная мудрость болѣе

глубокая, чѣмъ та, которую онъ исповѣдывалъ разсудкомъ. Къ величайшему огорченію своихъ единомышленниковъ изъ позитивистовъ онъ передъ кончиною исповѣдался и причастился. Поклонники Ковалевскаго-позитивиста были этимъ скандализированы; священникъ, его пріобщавшій, былъ, напротивъ, этимъ сердечно обрадованъ. Надъ открытой его могилой шли въ надгробныхъ рѣчахъ непріятные споры о томъ, былъ ли онъ или не былъ христіаниномъ; намекали на минутное „затменіе" въ сознаніи умирающаго. П. Н. Милюковъ усматривалъ въ этой подробности его кончины „быговую черту", т. е. попросту говоря курьезъ, который можно было простить Ковалевскому за многое другое положительное, что въ немъ было. Душа человѣческая — потемки и потому я не берусь рѣшить, въ какой степени тутъ можетъ итти рѣчь о сознательномъ обращеніи Максима Максимыча въ христіанство. Знаю только, что съ этимъ пріобщеніемъ связана глубоко трогательная черта, характеризующая его сердце. На предложеніе пріобщиться онъ отвѣчалъ: „я знаю, что это обрадовало бы мою мать: хочу быть съ нею". Какъ это понимать? Хотѣлъ ли онъ быть съ усопшею и горячо любимою имъ матерью въ жизненномъ общеніи черезъ Евхаристію, или же онъ думалъ только объ общеніи въ мысляхъ, въ воспоминаніяхъ? Никакихъ данныхъ для рѣшенія этого вопроса у насъ нѣтъ и не можетъ быть. Но вопросъ о томъ, что „думалъ" Ковалевскій въ эту минуту — вообще вопросъ второстепенный. Гораздо важнѣе то, что онъ *переживалъ*; существенна тутъ не мудрость ума, а мудрость сердца, это *движеніе любви къ дорогой усопшей,* которое передъ самой кончиной Ковалевскаго установило жизненное общеніе съ нею черезъ таинство тѣла и крови Христовой. Тутъ было молчаніе разсудка передъ чѣмъ то непостижимымъ и безконечно дорогимъ. Радостно думать, что съ этимъ молчаніемъ ума и со святымъ порывомъ любящаго сердца Ковалевскій перешелъ въ вѣчность.

И не случайно сочетается этотъ переходъ съ его духовнымъ обликомъ: той слѣпой вѣры въ разсудочныя теоріи, которая характеризуетъ его единомышленниковъ—позитивистовъ, въ немъ, конечно, не было. Въ непогрѣшимость своего позитивизма онъ не вѣрилъ въ самомъ расцвѣтѣ своихъ жизненныхъ силъ. Сомнѣніе, не вретъ ли теорія въ самомъ основномъ, существенномъ, было всегда ему присуще: нужно ли удивляться, что оно возобладало въ немъ въ ту великую и страшную минуту, когда онъ сталъ лицомъ къ лицу съ вѣчностью.

IX. Музыкальныя переживанія. Девятая симфонія Бетховена.

Для той духовной атмосферы, въ которой мы съ братомъ жили въ наши студенческіе годы, музыкальныя переживанія были много существеннѣе университетскихъ впечатлѣній. Тогдашній университетъ былъ совершенно чуждъ нашей духовной и умственной жизни. Напротивъ, тѣ музыкальныя переживанія, которыя въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ выпали на нашу долю въ Москвѣ, входили въ нее какъ необходимая составная часть.

Николая Рубинштейна въ то время уже не было на свѣтѣ: онъ скончался 11 Марта 1881 года, — за нѣсколько мѣсяцевъ до нашего переѣзда въ Москву. Въ память почившаго артиста его братъ — Антонъ Григорьевичъ — открылъ осенью 1881 года музыкальный сезонъ въ Москвѣ, гдѣ онъ взялся дирижировать тремя первыми симфоническими концертами Императорскаго Музыкальнаго Общества. Въ программѣ этихъ концертовъ стояли, между прочимъ, двѣ симфоніи Бетховена — третья „героическая“ и девятая. Мы съ братомъ еще до переѣзда въ Москву готовились къ ихъ слушанію. Для этого моя мать съ сестрами исполняли ихъ нѣсколько разъ въ четыре руки. Помню, что мы „готовились“ съ благоговѣніемъ, точно къ совершенію нѣкотораго музыкальнаго священно-

дѣйствія, вслушиваясь въ каждую подробность и смакуя каждый аккордъ.

Готовиться было необходимо: несмотря на обиліе классической музыки, которое мы слышали съ дѣтства въ концертахъ и въ домашнемъ исполненіи, высшія созданія Бетховена и въ особенности его симфоніи были до того еще за предѣлами нашего пониманія; да къ тому же мы ихъ сравнительно мало слышали и почти совсѣмъ не знали. Намъ предстояло еще въ нихъ *вжиться*. И это стало возможнымъ, благодаря пріѣзду Антона Рубинштейна въ Москву. Получивъ до концерта доступъ на его репетиціи, я такимъ образомъ продолжалъ „готовиться", слушая не только оркестръ, но и всѣ комментаріи Рубинштейна къ его исполненію, всѣ его указанія.

Понятно, что при этихъ условіяхъ три концерта подъ управленіемъ Рубинштейна разрослись для меня въ большое событіе. Я и до сихъ поръ радуюсь, что событіе это выпало на мою долю, потому что благодаря ему симфоніи Бетховена стали для меня пріобрѣтеніемъ на всю жизнь, такъ что я помню въ нихъ каждый диссонансъ, каждый переходъ и могу, когда вздумается, мысленно развертывать ихъ въ воображеніи: память сохранила не только мотивы, но и характерныя черты Рубинштейновскаго исполненія — въ особенности его темпы.

Впослѣдствіи я слышалъ множество нападокъ на А. Рубинштейна, какъ на дирижера. Многіе имъ были недовольны; есть и сейчасъ музыканты, которые считаютъ его дирижеромъ „плохимъ", при чемъ въ основѣ этихъ сужденій обыкновенно лежитъ сравненіе съ иностранными, въ особенности нѣмецкими дирижерами. Этимъ для меня опредѣляется и цѣнность этихъ нападокъ. Въ отношеніи оркестровой техники Рубинштейнъ стоялъ ниже, можетъ быть, даже значительно ниже многихъ ученыхъ нѣмцевъ, и всетаки за его исполненіе, въ особенности за его исполненіе Бетховенскихъ симфоній, можно было отдать всѣхъ этихъ нѣм-

цевъ, вмѣстѣ взятыхъ. У него было какъ разъ то важнѣйшее, чего у нихъ не было: *музыкальный геній*.

Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, когда мнѣ пришлось его слушать, Антонъ Григорьевичъ былъ уже полу-слѣпой: у него былъ катарактъ на обоихъ глазахъ. Передъ нимъ лежала партитура, но онъ ее почти не видѣлъ и дирижировалъ больше наизусть. На это жаловались музыканты, которые говорили, что онъ не всегда указываетъ вступленіе инструментовъ, отъ этого происходили шероховатости, вызывавшія гнѣвныя вспышки Антона Григорьевича. Онъ былъ такъ же вспыльчивъ, какъ и его покойный братъ, и не стѣснялся кричать на музыкантовъ на репетиціяхъ. Однажды я былъ свидѣтелемъ этого крика на самомъ концертѣ. Музыкантовъ это, понятное дѣло, энервировало, что не могло не вредить исполненію. Когда послѣ Рубинштейна являлся на эстрадѣ нѣмецъ-спеціалистъ, увѣренно и спокойно указывавшій во время каждое вступленіе и тщательно разучивавшій съ оркестромъ симфонію до малѣйшихъ подробностей, это успокаивало и подкупало исполнителей. Помню радостный возгласъ оркестроваго музыканта послѣ одного концерта такого техника-виртуоза — Макса Эрдмансдёрфера, — выступившаго въ 1881 — 1882 году вслѣдъ за Рубинштейномъ. „Какое счастье играть съ такимъ дирижеромъ: какъ спокойно себя чувствуешь! У Рубинштейна, бывало, такъ боишься".

Слова эти относились къ обоимъ Рубинштейнамъ — Антону и покойному Николаю. Своей техникой Эрдмансдёрферъ превосходилъ ихъ обоихъ. Музыканты единогласно свидѣтельствовали, что такихъ pianissimo, fortissimo и crescendo, какимъ научилъ ихъ Эрдмансдёрферъ, они раньше просто не умѣли дѣлать. Едва слышный шопотъ могучаго оркестра, безпредѣльное наростаніе звука, стройность ансамбля и отчетливость выдѣленія каждой темы, главной и второстепенной, — все это было у Эрдмансдёрфера верхомъ совершенства. И, однако же, несмотря на всѣ шероховатости

рубинштейновскаго исполненія, игра Эрдмансдёрфера въ сравненіи съ нимъ ничего не стоила.

Помню глубокія замѣчанія по этому поводу профессора віолончели Фитценгагена, тонкаго, умнаго знатока и цѣнителя музыки, который игралъ въ оркестрѣ подъ управленіемъ обоихъ Рубинштейновъ, а потомъ подъ управленіемъ Эрдмансдёрфера. — „Какое тутъ можетъ быть сравненіе“, — говорилъ онъ, — „что изъ того, что у Рубинштейна пропадали тѣ или другія тонкія, неуловимыя детали. Развѣ въ деталяхъ дѣло? Рубинштейны — тотъ и другой — давали намъ самое главное — *великій образъ музыкальнаго цѣлаго* (ein grosses Gesammtbild). Какъ разъ именно этого не даетъ Эрдмансдёрферъ. Вмѣсто того, чтобы воспроизводить *цѣлое*, онъ беретъ партитуру и разсматриваетъ ее въ лупу, преувеличивая въ десять разъ каждую подробность. Онъ находитъ тамъ piano и говоритъ: „ахъ, тутъ долженъ быть шопотъ“, рядомъ съ этимъ видитъ forte и дѣлаетъ такое forte, чтобы волосъ сталъ дыбомъ на головѣ. Подробности черезъ это безмѣрно преувеличиваются и разростаются, а образъ цѣлаго совершенно исчезаетъ изъ поля зрѣнія. Позвольте прибѣгнуть къ сравненію. Допустимъ, что я пишу съ Васъ портретъ. Я вижу, что у Васъ большой носъ и маленькій ротъ. И вотъ я начинаю вытягивать Вамъ носъ на полотнѣ и нарисую Вамъ ротикъ съ пуговицу. Развѣ это будетъ портретъ? Нѣтъ, какъ бы виртуозно ни былъ нарисованъ вашъ длинный носъ и вашъ маленькій ротъ, все же это будетъ не образъ Вашъ на полотнѣ, а каррикатура. Вотъ Вамъ и вся разница между Рубинштейномъ и Эрдмансдёрферомъ: одинъ даетъ Вамъ геніальный образъ подлинника, а другой пишетъ каррикатуру. Пожалуй еще можно способомъ Эрдмансдёрфера хорошо исполнять какой нибудь красочный танецъ или рапсодію. Но по отношенію къ Бетховену, извините меня, это — кощунство.“

Слова Фитценгагена врѣзались мнѣ въ память, потому что они какъ нельзя болѣе точно и тонко

выразили суть того музыкальнаго откровенія, которое мнѣ дано было воспринять черезъ Антона Рубинштейна. Выраженіе „музыкальное откровеніе“ тутъ, право, не составляетъ преувеличенія. Этотъ Рубинштейнъ, у котораго не было нѣмецкой чистоты и отчетливости исполненія, заставлялъ своихъ слушателей въ симфоніяхъ Бетховена переживать всю міровую драму. И въ этомъ переживаніи была подлинная суть бетховенскаго творчества, — въ особенности — его девятой симфоніи.

Боже мой, до чего волнительна была въ передачѣ Рубинштейна эта симфонія. Помнится, слушая первую часть, я чувствовалъ, словно присутствую при какой то космической бурѣ: передъ глазами мелькаютъ молніи, слышится какой то глухой подземный громъ и рокотъ, отъ котораго сотрясаются основы вселенной. Душа ищетъ, но не находитъ успокоенія, отъ охватившей ее тревоги. Эта тревога безвыходнаго мірового страданія и смятеніе проходитъ черезъ всѣ первыя три части, наростая, увеличиваясь. Въ изумительномъ скерцо съ его повторяющимися тремя жестокими, рѣзкими ударами, душа ищетъ развлечься отъ этого сгущающагося мрака: откуда то несется тривіальный мотивъ скромнаго бюргерскаго веселья и вдругъ опять тѣ же три сухіе, рѣзкіе удара его прерываютъ и отталкиваютъ: прочь пошлое, призрачное отдохновеніе, не мѣсто въ душѣ филистерскому довольству, прозаическому мотиву, будничной радости. Весь этотъ раздоръ и хаосъ, вся эта міровая борьба въ звукахъ, наполняющая душу отчаяніемъ и ужасомъ, требуетъ иного, высшаго разрѣшенія: не для того гремитъ громъ, не для того земля сотрясается, чтобы міръ могъ успокоиться на мѣщанскомъ мотивѣ житейской середины. — Или все существующее должно провалиться въ бездну, или должна быть найдена та полнота жизни и радости, которая бы покрыла и претворила въ блаженство всю эту безмѣрную скорбь существованія.

Но гдѣ она, эта полнота? Вы прошли, пережили и перечувствовали весь міровой процессъ и не нашли

ея. Въ первыхъ трехъ частяхъ отзвучала вся міровая драма, вы хотите надъ ней подняться. Напрасная мечта: воспоминанія ваши воспроизводятъ вновь все тотъ же пережитый ужасъ. Мотивы трехъ первыхъ частей, геніально повторяясь въ началѣ четвертой части, наводятъ на душу ощущеніе полной безвыходности. Вы чувствуете себя въ магическомъ порочномъ кругѣ. Нѣтъ разрѣшенія міровому страданію. Всѣ его стадіи обречены на безконечное и вѣчное повтореніе: опять землетрясеніе и громъ первой части, опять захватывающая скорбь adagio, опять сухіе, рѣзкіе удары скерцо. Неужели же — обманъ вся эта жизнь и нѣтъ надъ ней того высшаго, ради чего стоитъ жить и страдать.

И вдругъ, когда вы чувствуете себя у самаго края темной бездны, куда проваливается міръ, вы слышите рѣзкій трубный звукъ, какіе то раздвигающіе міръ аккорды, властный призывъ потусторонней выси, изъ иного плана бытія. Душа ваша встрепенулась: она въ недоумѣніи спрашиваетъ себя, что это такое. И тутъ уже не звукъ, а слово, воплощенное въ мелодію, отвѣчаетъ на ея недоумѣніе и трепетъ: *„други, оставьте эти печальные звуки, запоемъ другіе, болѣе радостные“*. Ваше вниманіе приковано, но не сразу дается тотъ заключительный подъемъ, который готовится въ звукахъ. Изъ безконечной дали несется pianissimo невѣдомый доселѣ мотивъ радости: оркестръ нашептываетъ вамъ какіе то новые торжественные звуки. Но вотъ они растутъ, ширятся, близятся. Это уже не предвидѣнье, не намекъ на иное будущее — человѣческіе голоса, которые вступаютъ одинъ за другимъ, могучій хоръ, который подхватываетъ побѣдный гимнъ радости, это уже подлинное, это настоящее. И вы чувствуете себя разомъ поднятымъ въ надзвѣздную высоту, надъ міромъ, надъ человѣчествомъ, надъ всею скорбью существованія.

Обнимитесь всѣ народы,
Ницъ падите милліоны.

Сколько разъ потомъ я слышалъ эту симфонію, но никогда никто изъ дирижеровъ не умѣлъ съ такою силою, съ такою властью, какъ Рубинштейнъ, передать эту теогоническую грозу въ звукахъ и такъ ясно поставить передъ душой эту музыкальную, а вмѣстѣ и жизненную дилемму. Нѣтъ и не должно быть середины въ достиженіи жизненнаго стремленія. Или все — общій міровой провалъ или подъемъ надъ звѣздами въ чертогъ высшей радости.

Трудно передать то состояніе восторга, которое я испыталъ тогда въ симфоническомъ концертѣ. Всего нѣсколькими мѣсяцами раньше передъ моимъ юношескимъ сознаніемъ стала навѣянная Шопенгауеромъ и Достоевскимъ дилемма. Или есть Богъ, и въ немъ полнота жизни *надъ міромъ*, или не стоитъ жить вовсе. И вдругъ я увидѣлъ эту самую дилемму глубоко, ярко выраженною въ геніальныхъ музыкальныхъ образахъ. Тутъ есть и нѣчто безконечно бо́льшее, чѣмъ постановка дилеммы, — есть *жизненный опытъ* потусторонняго, — *реальное ощущеніе динамическаго покоя.* Мысль ваша не застыла въ состояніи неподвижности, — нѣтъ, она воспроизводитъ всю серію драматическихъ звуковъ мірового движенія. Но она воспринимаетъ всю міровую драму съ той высоты вѣчности, гдѣ все смятеніе и ужасъ чудесно претворяются въ радость и *покой.* И вы чувствуете, что вѣчный покой, который нисходитъ сверху на вселенную — не отрицаніе жизни, а полнота жизни. Никто изъ великихъ художниковъ и философовъ міра не ощутилъ и не раскрылъ этого такъ, какъ это удалось Бетховену. Его девятая симфонія стоитъ совершенно одиноко среди тогдашняго мірового творчества. Ни въ тогдашней германской поэзіи, ни въ тогдашней германской философіи нѣтъ того, что составляетъ суть этого великаго произведенія: *нѣтъ ощущенія вѣчнаго покоя надъ вселенной.* А между тѣмъ при всемъ своемъ одиночествѣ, при всей *единственности* своего величія, какъ близокъ

былъ геній Бетховена къ той окружающей жизни, надъ которой онъ такъ высоко поднимался. Девятая симфонія — его отвѣтъ на всѣ драматическія переживанія тогдашней Европы.

Что такое эта *теогоническая* гроза, этотъ подземный гулъ и рокотъ первой части симфоніи? Бетховенъ все это переживалъ въ дѣйствительности. Онъ жилѣ въ дни міровой революціи и нескончаемыхъ міровыхъ войнъ, космическая буря дѣйствительно совершалась на его глазахъ. Міръ истекалъ кровью, искалъ и не находилъ выхода изъ состоянія всеобщаго раздора и разлада. Не одинъ Бетховенъ чувствовалъ ужасъ этого колебанія основъ вселенной и этого надвигающагося на міръ адскаго вихря. Были въ его дни и другіе, которые спрашивали, къ чему весь этотъ стонъ, и плачъ, и ужасъ. Но тѣ другіе, а въ ихъ числѣ Шопенгауеръ, — искали смысла вселенной и не находили его. Изъ всѣхъ великихъ творцовъ того времени одинъ Бетховенъ звалъ враждующія племена людскія въ чертогъ вѣчной радости. И, вопреки *здѣшнему* раздору, этотъ потусторонній міръ вселенной былъ для него фактомъ его духовнаго опыта. Онъ не только его предвидѣлъ, онъ его *ощущалъ*. И этимъ ощущеніемъ онъ поднялся не только надъ своими современниками. Онъ явилъ въ звукахъ неумирающее откровеніе вѣчной правды.

Цѣлое столѣтіе отдѣляетъ насъ отъ той эпохи наполеоновскихъ войнъ, когда жилъ и творилъ Бетховенъ. И вотъ вселенная опять въ крови. Снова война, снова всемірная революція. Опять человѣчество спрашиваетъ себя, зачѣмъ весь этотъ плачъ, стонъ и ужасъ, гдѣ разрѣшеніе этого всеобщаго раздора, гдѣ выходъ изъ всемірнаго страданія и скорби. Теперь, какъ и тогда, отвѣтъ Бетховена остается въ силѣ. Между безусловной безсмыслицей и безусловнымъ смысломъ нѣтъ той *середины*, на которой могло бы успокоиться наше исканіе. *Или всеобщій міровой провалъ, или полнота вѣчной жизни и радости.*

X. Музыкальныя переживанія. Классики, Глинка, Бородинъ.

Много было у меня яркихъ и сильныхъ музыкальныхъ воспріятій зимою 1881 — 1882 года; но по глубинѣ и значительности, разумѣется, ничто не можетъ сравниться съ тѣмъ, что дала девятая симфонія. Это было одно изъ тѣхъ внутреннихъ озареній, которые оставляютъ прочный слѣдъ въ *жизни*. Потомъ душа живетъ многіе годы тѣмъ, что открылось ей въ такія исключительныя, единственныя въ своемъ родѣ минуты. Каковы бы ни были страданія и скорбь въ жизни, — *есть высота надъ хаосомъ, надъ землетрясеніемъ, надъ громами*; тамъ всѣ бури міра претворяются въ покой. Это я знаю не теоретически. Благодаря Бетховену, эта высочайшая горная вершина стала для меня фактомъ жизненнаго опыта. Оттуда я могу *созерцать грозу,* но не уноситься ею: ибо она *подо мною*. . . Я не страшусь ея, потому что всѣмъ существомъ чувствую *достовѣрность побѣды*. Вотъ и теперь, когда мнѣ, уже состарившемуся, приходится метаться изъ конца въ конецъ моей обширной родины, ища прибѣжища отъ бушующаго кругомъ урагана, въ душѣ живетъ все то же радостное чувство: *есть недвижный покой надъ громами*. Не Бетховенъ первый сообщилъ мнѣ эту радость, дающую силу жить; но онъ закрѣпилъ ее въ моемъ міроощущеніи. Въ трудныя минуты тяжкихъ жизненныхъ испытаній иногда бываетъ достаточно вспомнить торжественные звуки заключительнаго бетховенскаго хора, чтобы отогнать сомнѣнія и оживить въ душѣ это ощущеніе невозмутимаго покоя.

По отношенію ко всѣмъ прочимъ музыкальнымъ воспріятіямъ моей юности это былъ тотъ снопъ свѣта, который все освѣщалъ, ибо въ этомъ предѣльномъ высшемъ достиженіи музыкальнаго творчества я нашелъ искомое всякой музыки, болѣе того, — всякаго искусства. Заданіе всякаго искусства состоитъ въ томъ, чтобы найти недвижную точку покоя надъ

хаосомъ и созерцать временное съ высоты вѣчности; искусство нужно намъ вообще, чтобы вырвать душу изъ плѣна у времени.

Не въ одной девятой симфоніи я ощущалъ это освобождающее дѣйствіе, а въ большей или меньшей степени во всемъ, что я слушалъ. Помнится, въ 1881 году на одномъ изъ первыхъ концертовъ подъ управленіемъ А. Рубинштейна исполнялась увертюра „Фаустъ" Р. Вагнера, которая произвела на меня сильное впечатлѣніе, какъ яркое изображеніе пессимистическаго настроенія въ музыкѣ. Въ стихахъ Гете, которые послужили эпиграфомъ къ увертюрѣ, говорится о переживаемой Фаустомъ ненависти къ жизни и жаждѣ смерти.*) Трудно себѣ представить настроеніе болѣе тяжелое, гнетущее. А между тѣмъ, когда эта жажда смерти находитъ себѣ художественное изображеніе въ звукѣ, душа надъ нею возвышается: она освобождается отъ гнета. *Искусство всегда радостно*, каковъ бы ни былъ его предметъ. Радостно это ощущеніе свободы, *легкости духа*, который поднимается надъ всякимъ преходящимъ явленіемъ, настроеніемъ, чувствомъ, вообще надо всѣмъ, что преходяще. Радуетъ тотъ подъемъ къ сверхвременному, который чувствуется во всякомъ художественномъ творчествѣ. Освобожденіе отъ тяжести и ощущеніе крыльевъ присуще всякому искусству, заслуживающему этого наименованія. Но ощущать въ себѣ крылья еще не значитъ знать, куда летѣть. Явить человѣчеству ту предѣльную высоту, которая составляетъ вершину и цѣль всего творческаго полета человѣческой мысли, дается лишь художникамъ изъ художниковъ, при томъ не во всѣхъ, а только въ высшихъ ихъ произведеніяхъ. И, когда такая высота достигнута, съ нея видны всѣ ступени подъема, весь восходящій путь міровового творчества.

Этимъ объясняется то расширяющее дѣйствіе на

---

*) Und so ist mir Dasein zur Last,
Der Tod erwünscht, das Leben erhasst.

кругозоръ, которое оказываютъ такія произведенія. Когда вы вживаетесь въ девятую симфонію, вы чувствуете, что передъ вами открылись во всѣ стороны необъятные горизонты; вы начинаете совсѣмъ иначе понимать и иначе чувствовать всѣ прочія музыкальныя красоты, которыми вы раньше наслаждались. Вы видите не только наверху, но и *внизу* то, чего вы раньше не видали. Мѣняется вся перспектива, въ которой вы смотрите и судите, а соотвѣтственно мѣняются и всѣ оцѣнки. Вы раньше преклонялись, скажемъ, передъ Чайковскимъ. И вдругъ, когда вы смотрите на него съ высоты, — оказывается, что это — не альпійская вершина, а высота средней величины, которая заслоняла отъ васъ несравненно высшія вершины, пока вы находились внизу у ея подножія. Но что это за громады, которыя выросли сзади, *надъ* этой возвышенностью и которыхъ вы раньше совсѣмъ не замѣчали? Вы видите уже не отдѣльныя вершины, а цѣлыя *цѣпи горъ*; и высота, которая раньше поглощала ваше вниманіе, оказывается лишь одной изъ многихъ вершинъ такой цѣпи, однимъ изъ ея развѣтвленій.

Вся классическая музыка стала мнѣ близкою, *своею*, съ того момента, когда мнѣ стало доступно высшее ея достиженіе; и Моцартъ, и Бахъ, и Гайднъ — стали моими, когда я сталъ смотрѣть на нихъ съ высоты открытаго мнѣ Бетховеномъ Монблана. Гайдна я всей душой любилъ и раньше. Поблекла для меня русская національная музыка, когда душа, казалось, переполнилась черезъ край музыкой нѣмецкой? Наоборотъ, она возросла въ цѣнѣ, измѣнилась только перспектива, въ которой я на нее смотрѣлъ. Вмѣсто отдѣльной вершины и тутъ я увидѣлъ цѣпь. Надъ Чайковскимъ сталъ расти въ моихъ глазахъ Глинка, знакомый и раньше, но до того еще не осознанный. И показались, хотя издали, возвышенности, которыхъ раньше совсѣмъ не было въ моемъ полѣ зрѣнія, — Бородинъ, Мусоргскій, Римскій Корсаковъ. Не могу сказать, чтобы я уже тогда въ нихъ вжился, но я сталъ

ихъ впервые разглядывать съ величайшимъ вниманіемъ и интересомъ, а кое-что и въ самомъ дѣлѣ разглядѣлъ.

Въ особенности ближайшее знакомство съ Глинкой въ ту пору имѣло для меня огромное значеніе. Какъ могло случиться, что я раньше такъ мало его зналъ? Объясняется это очень просто. До восьмидесятыхъ годовъ итальянская опера настолько господствовала въ русскихъ театрахъ, что для оперы русской почти не оставалось мѣста. „Жизнь за Царя" стояла въ репертуарѣ не въ качествѣ музыкальнаго произведенія, а въ качествѣ необходимой для „высокоторжественныхъ" дней оперы патріотической. А Руслана въ теченіе многихъ лѣтъ *не давали совсѣмъ*. Вотъ почему я не видалъ его въ дѣтствѣ. Я ли одинъ? Помню въ ту пору А. Рубинштейнъ пришелъ въ изумленіе, когда узналъ, что моя мать никогда не бывала въ Русланѣ. „Знаете ли что", — сказалъ онъ ей, — „я даже вамъ завидую: завидно думать о тѣхъ, кому еще предстоитъ такое большое наслажденіе".

Какъ разъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ послѣ вступленія на престолъ императора Александра III-го, итальянская опера на императорской сценѣ была замѣнена русской и въ 1882 году въ Московскомъ Большомъ Театрѣ былъ возобновленъ „Русланъ". Эта опера тоже составила эпоху въ моей музыкальной жизни; но это не было то безпримѣсно музыкальное воспріятіе, которое я переживалъ, слушая Бетховена. Тутъ было новое воспріятіе Россіи; а потому съ наслажденіемъ художественнымъ сочетался сильный національный подъемъ. *Геніальное выраженіе родного*, вотъ что въ особенности меня плѣняло и захватывало въ Глинкѣ. И это въ немъ для меня осталось на всю жизнь. Я и до сихъ поръ не могу безъ радостнаго волненія слышать его увертюру „Руслана" и „Комаринскую", самое воспоминаніе о которой въ одинъ мигъ воскрешаетъ передо мною все дорогое, что *было*, и что, я надѣюсь, еще *есть* въ русской деревнѣ. Въ сравненіи съ этимъ *подлинно народнымъ* для меня какъ то сразу стало

яснымъ, сколько есть народничанья и оскорбляющей ухо итальянщины въ тѣхъ произведеніяхъ Чайковскаго, которыя раньше казались мнѣ подлинно народными.

И всетаки я чувствую, что теперь я воспринимаю Глинку иначе, чѣмъ тогда. Въ томъ особомъ энтузіазмѣ, съ которымъ его воспринимало наше поколѣніе молодежи, отражалась эпоха. Это были какъ разъ дни національной реакціи противъ космополитическаго нигилизма. Этимъ національнымъ движеніемъ было вызвано и самое возобновленіе „Руслана“ въ связи съ изгнаніемъ итальянской оперы съ русской императорской сцены. И общество и правительство стали тогда удѣлять русскому искусству все больше вниманія. А мы, молодежь, воспринимали его, какъ воспитанники Достоевскаго, подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ котораго мы тогда находились. Когда я впервые познакомился съ Русланомъ, русскій народъ былъ для меня „народомъ-богоносцемъ“. Нужно ли удивляться, что въ моемъ воспріятіи и въ особенности въ моихъ оцѣнкахъ того времени было не мало националистическихъ преувеличеній!

Подъ вліяніемъ знаменитой пушкинской рѣчи Достоевскаго Глинка рисовался мнѣ русскимъ музыкальнымъ Пушкинымъ, своего рода музыкальнымъ „всечеловѣкомъ“. И дѣйствительно, такія произведенія этого родоначальника русской музыки, какъ „Арагонская хота“, краснорѣчиво говорили объ универсальности русскаго генія, о его изумительной способности творчески переноситься въ духовную атмосферу другихъ народовъ. Но при всей этой универсальности, при всей сказочной красочности этой музыки, какъ ясно сказываются въ творчествѣ Глинки національные недостатки, усугубленные недостатками его эпохи. И вотъ этихъ то недостатковъ я, въ мои молодые годы, совершенно не чувствовалъ, я просто не видѣлъ въ глинкинской музыкѣ тѣхъ пятенъ, которыя такъ ясно, такъ рельефно выступили для меня впослѣдствіи. Въ теченіе почти цѣлаго десятилѣтія „Русланъ“ былъ для меня произ-

веденіемъ единственнымъ, несравненнымъ, *оперою изъ оперъ*. Такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока неожиданный, но въ высокой степени характерный случай не разъяснилъ мнѣ, что при всей своей геніальности Русланъ вовсе не опера, а нѣчто другое.

Случилось это уже въ тѣ дни, когда подъ вліяніемъ позднѣйшихъ разочарованій я начиналъ отходить отъ націоналистическихъ преувеличеній моей ранней молодости. Мнѣ какъ то захотѣлось „показать Руслана“ нѣкоторымъ близкимъ людямъ, которые его не знали, — людямъ съ большимъ художественнымъ вкусомъ, но съ среднимъ музыкальнымъ развитіемъ. Я былъ чрезвычайно огорченъ тѣмъ, что они видимо скучали, а къ концу оперы чуть совсѣмъ не заснули. Я недоумѣвалъ: вѣдь тѣ же самыя лица на моихъ глазахъ прекрасно воспринимали какого нибудь „Лоэнгрина“ Вагнера. Отчего же такая нечувствительность и такое равнодушіе къ своему родному. И вдругъ я услыхалъ фразу: il n'y a pas d'action. Я разомъ понялъ, въ чемъ дѣло, понялъ не только *ихъ*, но и ту черту „Руслана“, которая погружала ихъ въ сонъ. Въ первый разъ въ жизни я замѣтилъ, что въ каждомъ дѣйствіи этой оперы кто нибудь спитъ. Въ первомъ дѣйствіи засыпаютъ *всѣ* дѣйствующія лица; въ второмъ спитъ голова; въ третьемъ безъ конца засыпаетъ на сценѣ Ратмиръ, въ четвертомъ Людмила, въ пятомъ — Горислава и опять Людмила. Чтобы наслаждаться этой оперой нужно обладать именно той способностью, которой недостаетъ среднему музыкальному развитію. *Надо умѣть отвлечься отъ сцены, гдѣ спятъ,* и уйти въ самую глубь той сказки, которая снится этимъ спящимъ.

Высшее произведеніе русской музыки — очаровательная, но не дѣйственная сказочная греза. Развѣ это не характерно для русской души и для эпохи глинкинскаго творчества въ особенности? Вслушайтесь въ героическіе звуки музыки Вагнера или въ могучіе аккорды Бетховена. Какой въ нихъ могучій призывъ къ

подвигу, къ дѣйствію. А у насъ? Къ чему зоветъ мелодія „Руслана“? Она уноситъ отъ жизни, зачаровываетъ душу, погружаетъ ее въ то сказочное настроеніе, о которомъ поетъ хоръ въ первомъ дѣйствіи:

Какое чудное мгновенье,
Что значитъ этотъ дивный сонъ!

Но въ концѣ концовъ это — все та же мистика пассивныхъ переживаній, которыхъ такъ много и въ русской сказкѣ, и въ русской поэзіи, и въ русской религіозности, и во всемъ русскомъ духовномъ складѣ. Прекрасная, свѣтлая, чистая мечта, которая восхищаетъ, радуетъ, уноситъ прочь отъ жизни, но не *дѣйствуетъ*. И, чѣмъ дальше и выше отлетаетъ отъ жизни мечта, тѣмъ больше коснѣетъ жизнь въ своемъ безобразіи. Такъ было въ дни Глинки и Пушкина. Такъ продолжалось и послѣ нихъ. Съ одной стороны дивный расцвѣтъ русской поэзіи, а съ другой — крѣпостное право! И чѣмъ выше вершины, на которыя поднималось и поднимается творчество русскаго генія, — тѣмъ мучительнѣе для совѣсти этотъ упрекъ, который я тогда слышалъ въ театрѣ:

Il n'y a pas d'action.

Это — не только судъ на оперою, но и судъ надъ Россіей. Въ мои молодые, студенческіе годы я для него еще не созрѣлъ. Отъ этого я и не видѣлъ пятенъ въ „Русланѣ“.

Для настроенія начала восьмидесятыхъ годовъ это весьма характерно. Помнится, мы жили тогда подъ впечатлѣніемъ навѣянной Достоевскимъ мечты объ Алешѣ Карамазовѣ, посланномъ старцемъ Зосимою въ міръ — осуществлять Божью правду на землѣ. Образъ Алеши для всего воспитаннаго въ мысляхъ Достоевскаго поколѣнія молодежи того времени олицетворялъ задачу молодой Россіи. И душѣ хотѣлось вѣрить въ близкое разрѣшеніе этой задачи, въ чудеса, которыя скоро будутъ явлены міру черезъ Россію. Великій міро-объемлющій синтезъ Запада и Востока, религіи и науки,

церковнаго преданія и западной философіи, вотъ что наполняло душу радостной надеждой. Всмотритесь въ раннія произведенія В. Соловьева, которыя служатъ яркими показателями этого настроенія. И въ „Критикѣ отвлеченныхъ началъ“, и въ „Великомъ спорѣ“, и въ „Чтеніяхъ о Богочеловѣчествѣ“ „великій синтезъ“ рисуется ему какъ что то непосредственно предстоящее.

Такъ или иначе и Соловьевъ, и вся религіозно-настроенная молодежь того времени жила въ атмосферѣ славянофильской утопіи. То была красивая, но не дѣйственная мечта о Россіи. Нечего удивляться, что въ этомъ настроеніи мысль наша не могла понять тѣхъ недостатковъ творчества Глинки, отъ которыхъ она еще сама не освободилась. Чтобы понять изъяны этого настроенія „волшебнаго сна“, надобно было увидѣть пропасть подъ ногами, надо было почувствовать надигающуюся на міръ, и прежде всего на Россію, катастрофу. Надо было почувствовать не только высшую, Божественную правду, составляющую *призваніе* Россіи, но и всю глубину неправды ея *дѣйствительности.* Это стало возможнымъ гораздо позже.

Въ связи съ Глинкою, какъ я сказалъ, мнѣ начали открываться и иныя красоты русской музыки. Но въ восьмидесятыхъ годахъ произведенія „могучей кучки“ еще очень мало исполнялись. Ни Римскій-Корсаковъ, ни, тѣмъ болѣе, Мусоргскій еще не получили доступа на императорскую сцену. Въ репертуарѣ Большого Театра стояли оперы Дарогомыжскаго, Сѣрова, Чайковскаго, Рубинштейна, — а тѣ новѣйшіе композиторы, которые теперь составляютъ украшеніе русскаго опернаго репертуара, — все еще считались слишкомъ „радикальными“. Рѣдко удавалось слышать исполненіе ихъ произведеній и въ концертахъ. Только въ видѣ исключенія мнѣ довелось какъ то разъ слышать на концертѣ Императорскаго Музыкальнаго Общества въ Москвѣ „Картины изъ средней Азіи“ Бородина. По тому, какъ эта вещь была принята публикой, видно, что общество было уже подготовлено къ ея воспріятію.

„Картины“ заставили повторить на бисъ, что случалось не такъ ужъ часто съ большими оркестровыми произведеніями. Помню, какъ я былъ пораженъ необыкновенной яркостью этихъ музыкальныхъ образовъ, оставляющихъ впечатлѣніе почти зрительное. Когда слышишь лѣнивую русскую солдатскую пѣснь подъ ритмически повторяющійся однообразный аккомпаниментъ какихъ то тяжелыхъ шаговъ, — такъ и видишь войска, шествующія за верблюдами. А долго тянущаяся въ заключеніе верхняя скрипичная нота вызываетъ ощущеніе тропической жары въ безводной степи.

Какъ я ни жаждалъ послѣ этого послушать въ концертахъ новѣйшую русскую музыку, мнѣ это все не удавалось. Уже значительно позже, въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ, мнѣ на дому пришлось знакомиться въ любительскомъ исполненіи съ романсами и оперными аріями Бородина, Римскаго-Корсакова, Балакирева, Мусоргскаго и Кюи. И съ этого момента новая русская музыка стала для меня прочнымъ пріобрѣтеніемъ. Когда вслѣдъ за тѣмъ въ девяностыхъ годахъ началось царство названныхъ композиторовъ на сценѣ, я не только былъ подготовленъ къ ихъ слушанію, я хорошо зналъ и любилъ нѣкоторыя оперы, напримѣръ, „Снѣгурочку“ и „Бориса Годунова“.

Я не касаюсь здѣсь не только менѣе значительныхъ, но и весьма значительныхъ моихъ музыкальныхъ переживаній того времени и упоминаю лишь о тѣхъ, которыя, какъ яркіе факелы, освѣщаютъ всѣ мои воспоминанія о той русской духовной атмосферѣ, въ которой мнѣ пришлось жить въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. Надо сказать, что атмосфера эта была насыщена музыкой. Не часто выпадали тогда такіе музыкальные праздники, какъ девятая симфонія подъ управленіемъ Рубинштейна или его же игра на рояли, о которой могу сказать только то, что послѣ его кончины не явилось на свѣтѣ виртуоза, могущаго выдержать хотя бы отдаленное сравненіе съ нимъ. Но и то, что приходилось слышать черезъ каждыя двѣ недѣли,

было незаурядно. Незаурядным виртуозомъ оркестра былъ и Максъ Эрдмансдёрферъ, который замѣнилъ Рубинштейна въ качествѣ дирижера. Послѣ Рубинштейна трудно было примириться съ его исполненіемъ Бетховена, о которомъ я уже говорилъ. Но въ передачѣ композиторовъ меньшей, хотя все-же и очень большой величины недостатки, отмѣченные Фитценгагеномъ, сказывались не такъ рѣзко. Помнится, Шубертъ и Шуманъ удавались Эрдмансдёрферу прекрасно. Тутъ онъ схватывалъ не только детали, но и общую концепцію. А въ воспроизведеніи блестящихъ, фейерверочныхъ вещей Листа или „Бала-маскарада" Рубинштейна онъ не имѣлъ себѣ равныхъ. Съ благодарностью вспоминаю и о тогдашнихъ московскихъ квартетныхъ собраніяхъ, въ коихъ участвовали такіе серьезные, солидные музыканты, какъ Гржимали, Фитценгагенъ, Танѣевъ, Пабстъ; изъ нихъ послѣдній былъ даже блестящимъ.

Повидимому, не случайно въ моихъ воспоминаніяхъ о Москвѣ восьмидесятыхъ годовъ музыка занимаетъ такое большое, даже исключительное мѣсто. Въ позднѣйшихъ моихъ воспоминаніяхъ она играетъ значительно меньшую роль. Мнѣ кажется, что это объясняется скорѣе особенностями эпохи, чѣмъ моими личными наклонностями. Вспомнимъ тогдашнюю Россію. Музыка была въ ней единственною областью, гдѣ жизнь била ключемъ. Въ общественной жизни въ первые годы царствованія Александра III-го послѣ бури наступилъ полный штиль. Тутъ и въ самомъ дѣлѣ нечего вспомнить. Въ университетѣ — царство плоскаго позитивизма. Въ литературѣ Достоевскій только что сошелъ въ могилу, Левъ Толстой юродствовалъ и отрекался отъ литературы, а новое еще не появлялось; только къ концу моего пребыванія въ университетѣ начали ходить слухи о появленіи Короленки. А въ музыкѣ въ то же самое время геній Рубинштейна и цѣлая плеяда крупныхъ композиторскихъ талантовъ. Происходило въ то время движеніе и въ живописи, но самое значительное, что

въ немъ было, явилось позднѣе. Единственная область, которая тогда могла соперничать съ музыкой по значительности происходившихъ въ ней событій, была философія, гдѣ явился геніальный талантъ Соловьева. Такъ и окрасилась для меня эта эпоха — музыкой и философіей. Это былъ *полный уходъ внутрь, въ область мысли и въ область звука.* Въ моемъ личномъ индивидуальномъ развитіи, несомнѣнно, отражалось то, что происходило тогда въ Россіи.

Философія и музыка. Въ моихъ тогдашнихъ переживаніяхъ это было — одно. Музыка въ то время для меня сообщала краски умозрѣнію. Борьба съ Шопенгауеромъ, преодолѣніе пессимизма, религіозный подъемъ, увлеченіе національнымъ мессіанизмомъ — все это нашло отображеніе въ звукѣ и воплотилось въ музыкальныхъ образахъ. Мысли невольно, по ассоціаціи идей, связывались съ мелодіями, и въ душѣ наростало убѣжденіе, что каждая мысль и въ самомъ дѣлѣ имѣетъ свою особую мелодію, что все существующее имѣетъ свою *абсолютную мелодію*, которая выражаетъ его смыслъ. Вѣрилось въ грядущую міровую симфонію, которая воплотитъ и выразитъ смыслъ міровой эволюціи. Все это, разумѣется, было навѣяно тѣми музыкальными переживаніями, о которыхъ рѣчь шла выше.

Вокругъ меня все было полно музыкой. Дома, напримѣръ, въ исполненіи моихъ сестеръ въ четыре руки я слышалъ много разъ почти всю классическую музыку, квартеты, тріо, симфоніи и много музыки современной. И вслѣдствіе непостижимаго сродства процесса мысли съ музыкальнымъ воспріятіемъ, ничто такъ не толкало мысль впередъ, какъ музыка; а съ другой стороны, ничто не могло ее въ такой степени прервать или задержать. Въ домѣ моихъ родителей почти цѣлый день кто-нибудь что-нибудь разучивалъ на рояли. И отъ того, какъ шло это разучиваніе, въ значительной степени зависѣла успѣшность моихъ занятій. Вотъ я сижу въ моей комнатѣ, углубившись въ чтеніе Фихте.

А въ это время изъ столовой доносятся звуки тщательно разучиваемой баллады Шопена. Я читаю и усвояю хорошо, пока тамъ въ столовой дѣло идетъ гладко; но какъ только тамъ дѣлаютъ ошибку, я съ болью останавливаюсь. А если тамъ повторяютъ трудный пассажъ сначала, — я въ то же самое время вынужденъ перечесть сначала весь замысловатый философскій періодъ, нити котораго я утратилъ.

Помнится въ Москвѣ въ то время нельзя было достать маленькой квартирки или номера, куда бы изъ сосѣднихъ номеровъ не доносились какіе либо музыкальные звуки. Все было полно учениками, а въ особенности ученицами консерваторіи и музыкальныхъ училищъ. Вотъ, напримѣръ, мы съ братомъ сидимъ въ нашей комнатѣ, въ небольшой московской квартирѣ нашей тетушки, гдѣ мы жили, будучи студентами. Оба за письменными столиками, раздѣленными шкафомъ. Онъ погруженъ въ чтеніе Шеллинга, а я — Фихте. Обоимъ не по себѣ—чувствуется какое то невыносимо-нудное внутреннее препятствіе къ усвоенію, Это сверху изъ номера доносятся слащавые, глубоко намъ обоимъ ненавистные звуки „Баркароллы“ Чайковскаго; играющій на каждомъ шагу спотыкается и *медленно* повторяетъ сызнова, отчего нудность пьесы возростаетъ въ квадратѣ. Вдругъ — гнѣвный голосъ брата изъ за шкафа: „Ахъ, чортъ бы ее побралъ, какъ ей, наконецъ, самой не надоѣстъ, пристрѣлить бы ее“. — „А почемъ ты знаешь, что это *она*, а не *онъ*“, — спрашиваю я. — „Онъ, онъ“, — кричитъ братъ, выскакивая, — „да развѣ онъ станетъ такими глупостями заниматься, — конечно она, а не онъ?“

Иногда музыка вторгалась не извнѣ, а извнутри въ наши занятія. Оба мы прекрасно свистѣли; я могъ даже свистѣть аккордомъ въ два голоса, могъ просвистѣть цѣлый канонъ. И вотъ вдругъ среди чтенія у насъ начинался дуэтъ или тріо, воспоминаніе изъ слышаннаго или импровизація на какія нибудь знакомыя темы, чаще всего почему то моцартовскія. Музыки

кругомъ было столько, что отъ нея себя приходилось всячески ограждать; но не тутъ то было. Гони природу въ дверь, — она влетитъ въ окно!

XI. Философскія занятія въ университетѣ. Вліяніе Соловьева. Встрѣча съ Чичеринымъ.

Въ общемъ и для меня и для брата университетскіе годы были едва ли не самымъ плодотворнымъ періодомъ нашихъ философскихъ занятій. Почти цѣлую зиму 1881—1882 года я провелъ въ изученіи Фихте, при чемъ я началъ съ изученія труда Куно Фишера о немъ, а потомъ читалъ его собственныя произведенія. Затѣмъ также сначала по Куно Фишеру, а потомъ по собственнымъ трудамъ философа я ознакомился съ Шеллингомъ. Это было не простое чтеніе, а изученіе: главнѣйшіе труды философовъ прочитывались мною по два раза. Второй и третій курсъ университета были мною посвящены изученію древней философіи. Я прочелъ дважды огромные пять томовъ исторіи Целлера, перечиталъ во второй разъ многіе діалоги Платона, проштудировалъ по гречески съ помощью нѣмецкихъ переводовъ почти всего Аристотеля и всего Платона, — ознакомился съ исторіей англійской философіи по трудамъ Куно Фишера и Эрдмана, прочелъ Юма по англійски, а затѣмъ весь послѣдній годъ университетскаго курса изучалъ Гегеля, котораго также прочелъ почти всего, ознакомился съ книгой о немъ Гайма и съ извѣстной критикой гегелевскаго ученія въ „Логическихъ изслѣдованіяхъ“ Тренделенбурга. Въ этотъ же періодъ въ связи съ занятіями по древней философіи я написалъ мое кандидатское сочиненіе „О рабствѣ въ древней Греціи“, — оно же и мой первый печатный трудъ. Основы всего моего философскаго образованія были такимъ образомъ заложены частью въ гимназіи, частью въ универси-

тетѣ. Потомъ въ теченіе многихъ лѣтъ я не имѣлъ возможности удѣлять занятіямъ по чистой философіи такого количества времени и силъ.

Работали мы въ это время съ братомъ совершенно самостоятельно. Мы уже настолько освоились съ литературою предмета и съ методами изученія, что чье либо руководительство, если бы таковое въ то время и было возможно, не было намъ нужно.

Для меня непостижимо, какъ это въ теченіе всѣхъ нашихъ университетскихъ годовъ случай не свелъ насъ съ Соловьевымъ, который въ это время часто и подолгу живалъ въ Москвѣ. Во всякомъ случаѣ на ходъ нашего развитія онъ оказывалъ сильное вліяніе. Мы доставали номера „Православнаго Обозрѣнія", гдѣ печатались его „Чтенія о Богочеловѣчествѣ"; тетушки, у которыхъ мы жили въ Москвѣ, получали „Русь" Аксакова, и мы съ жадностью набрасывались на появлявшіяся тамъ одна за другой части „Великаго спора". Поворотъ Соловьева къ католицизму, обозначившійся въ концѣ этихъ статей, былъ для насъ громовымъ ударомъ. Мы болѣзненно переживали возникшій вслѣдствіе этого поворота расколъ въ славянофильскомъ лагерѣ и съ волненіемъ слѣдили за полемикой между Соловьевымъ и Ив. Серг. Аксаковымъ.

Это была первая глубокая трещина въ моемъ собственномъ славянофильствѣ. Я стоялъ всецѣло на хомяковской точкѣ зрѣнія, когда эта полемика началась. Для меня поворотъ Соловьева былъ тѣмъ болѣе неожиданъ, что немного раньше, въ „Чтеніяхъ о Богочеловѣчествѣ" онъ говорилъ о латинствѣ совершенно въ духѣ старыхъ славянофиловъ: онъ доказывалъ, что папство подпало всѣмъ тѣмъ тремъ искушеніямъ, коими сатана безуспѣшно пытался соблазнить Христа въ пустынѣ. По существу мое сочувствіе было всецѣло на сторонѣ Аксакова. Я не сомнѣвался, что Соловьевъ, звавшій Православную Цер-

ковь совершить простой актъ послушанія апостольскому престолу и видимо отрицавшій религіозныя основанія для нашего отдѣленія отъ латинства, былъ глубоко неправъ. Съ годами мое убѣжденіе, что Соловьевъ въ данномъ случаѣ недооцѣнилъ православіе, только крѣпло. Но съ другой стороны я не могъ вполнѣ остаться и на старой хомяковской позиціи. Въ самомъ ученіи Хомякова о церковномъ критеріи истины мнѣ почувствовались роковые изъяны. Споромъ Соловьева и Аксакова была поставлена передъ русскимъ церковнымъ сознаніемъ задача, надъ разрѣшеніемъ которой оно будетъ еще долго трудиться.

Если Соловьевъ ошибался въ оцѣнкѣ православія, то съ другой стороны для меня становилась все болѣе и болѣе ясной недостаточность хомяковской оцѣнки западныхъ вѣроисповѣданій. Въ университетскіе мои годы произошла первая моя встрѣча съ нѣмецкою мистикою. Я еще не зналъ Іакова Бема, но уже успѣлъ ознакомиться съ рядомъ выдающихся произведеній его продолжателя въ XIX вѣкѣ — Франца Баадера. И меня поразила слабость хомяковской попытки — свести всю духовную особенность западныхъ исповѣданій по сравненію съ православіемъ къ *раціонализму*. Еслибы это было вѣрно, какъ же могла бы вырасти на западѣ эта безконечно богатая и глубокая нѣмецкая мистика? Не очевидно ли, что въ западномъ христіанствѣ есть свои мистическіе корни, которые ускользнули отъ вниманія Хомякова?

Наконецъ, и Соловьевская апологія папства не осталась безъ вліянія на меня. „Непогрѣшимость“ — такъ и осталась для меня непріемлемой и въ абсолютной правдѣ латинской точки зрѣнія Соловьевъ меня не убѣдилъ. Но его разрушительная и сильная критика нашихъ церковно-государственныхъ отношеній, въ связи съ смѣлымъ изобличеніемъ нашего цезарепапизма, убѣдила меня въ томъ, что въ католическомъ идеалѣ независимой духовной власти

есть своя относительная правда, которая должна быть усвоена.

Въ общемъ ни я, ни мой братъ Сергѣй за Соловьевымъ не послѣдовали; теократическихъ его увлеченій мы не раздѣляли. Но тѣмъ не менѣе Соловьевъ остался для насъ тѣмъ центромъ, изъ котораго исходили всѣ умственныя задачи, философскія и религіозныя; отъ него же исходили важнѣйшие для нашего умственнаго развитія толчки. Въ частности его оцѣнки западной философіи въ теченіе долгаго времени опредѣляли наше отношеніе къ западнымъ мыслителямъ. Я очень нескоро разглядѣлъ изъяны философской критики въ Соловьевской „Критикѣ Отвлеченныхъ Началъ".

Вообще, какъ бы мы ни отдѣлялись въ томъ или въ другомъ отношеніи отъ Соловьева, — мы оба жили въ то время въ атмосферѣ его умственнаго вліянія. Характерно, что братъ мой въ студенческіе годы писалъ свое юношеское сочиненіе, оставшееся неоконченнымъ, — „о святой Софіи — Премудрости Божіей". Онъ не хотѣлъ показывать мнѣ этихъ, какъ онъ говорилъ, недозрѣвшихъ и недоношенныхъ мыслей. Но, судя по тому, что я о нихъ отъ него слышалъ, — онѣ чрезвычайно напоминали мысли о святой Софіи Соловьева. Не потому ли сочиненіе такъ и осталось недоконченнымъ? Еслибы оно представляло собою яркое проявленіе индивидуальнаго творчества, авторъ, конечно, не разстался бы съ нимъ, не доносивши его; и оно не было бы погребено въ архивѣ юношескихъ бумагъ, гдѣ его дѣти доселѣ не могли его разыскать.

Иныхъ значительныхъ духовныхъ вліяній въ наши студенческіе годы мы не испытывали. Была у насъ въ тѣ же самые годы встрѣча съ очень значительнымъ человѣкомъ: я говорю о Борисѣ Николаевичѣ Чичеринѣ; но вслѣдствіе діаметральной противоположности въ міровоззрѣніяхъ и въ умственномъ складѣ о

вліяніи въ собственномъ смыслѣ не могло быть рѣчи. Чичеринъ, какъ извѣстно, относился рѣзко отрицательно къ славянофильству. Въ Соловьевѣ его отталкивалъ мистицизмъ, т. е. именно то, что было намъ всего дороже. Словомъ, самые родники нашей духовной жизни были ему чужды. И, однако, встрѣча съ Чичеринымъ была для меня и для брата пріобрѣтеніемъ весьма значительнымъ и цѣннымъ. Я до конца жизни сохраню о ней самое благодарное воспоминаніе. Иниціатива нашей встрѣчи принадлежитъ самому Б. Н. Чичерину. Мы были знакомы и раньше, съ самаго моего дѣтства, но до первой половины восьмидесятыхъ годовъ никакого общенія между нами не было. Мы встрѣчались у одной моей тетушки, которая состояла съ Чичеринымъ въ свойствѣ; но знакомство въ теченіе долгаго времени ограничивалось поклонами при встрѣчѣ. И вдругъ онъ самъ выразилъ желаніе съ нами ближе познакомиться и просилъ зайти къ нему на домъ — поговорить о философіи.

Для насъ обоихъ это было большою неожиданностью. Чѣмъ могло объясняться это желаніе маститаго ученаго, пріобрѣтшаго заслуженную громкую извѣстность своими капитальными трудами и одного изъ первыхъ въ Россіи знатоковъ философіи — познакомиться съ двумя молодыми мальчиками — студентами третьяго курса университета? Мотивы этого поступка дѣлаютъ большую честь Борису Николаевичу. Въ ту эпоху царствованія Огюста Конта въ университетѣ онъ, представитель германской идеалистической школы въ философіи, чувствовалъ себя совершенно одинокимъ. И вдругъ онъ услыхалъ отъ общихъ нашихъ родственниковъ, что есть въ Москвѣ два молодыхъ студента, изучившіе всѣхъ классиковъ германской философіи и относящіеся непримиримо враждебно къ господствующему позитивному направленію. Онъ былъ изумленъ и спрашивалъ, откуда это увлеченіе нѣмцами, чьимъ вліяніемъ оно вызвано. Когда ему объяснили, что мы работаемъ совершенно самостоятельно безъ чьего либо

руководства и вліянія, онъ нами настолько заинтересовался, что пожелалъ съ нами встрѣтиться.

Разговоръ состоялся и былъ весьма продолжителенъ. Шла рѣчь и о позитивизмѣ, при чемъ тутъ мы сразу сошлись, и о нѣмецкихъ философахъ, и о Соловьевѣ, при чемъ о Гегелѣ и Соловьевѣ мы поспорили. Помнится, братъ мой восхищался критикою Тренделенбурга на Гегеля. Чичеринъ нападалъ на „чисто реалистическую“ точку зрѣнія Тренделенбурга. Я въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ поддерживалъ Чичерина противъ Тренделенбурга. Говоря о Соловьевѣ, онъ, между прочимъ, заявилъ, что мистицизмъ есть „отрицаніе науки“, съ чѣмъ мы, разумѣется, согласиться не могли. Противоположность нашей религіозно-мистической и его раціоналистической точки зрѣнія, близкой къ Гегелю, сказалась въ этомъ спорѣ очень рѣзко. Но наговорились мы всласть, какъ ни намъ, ни ему въ теченіе восьмидесятыхъ годовъ говорить о философіи было не съ кѣмъ. Кончился разговоръ тѣмъ, что Чичеринъ подарилъ каждому изъ насъ по экземпляру своихъ двухъ книгъ — „Собственность и Государство“ и „Мистицизмъ въ наукѣ“. Послѣдняя, содержавшая въ себѣ разборъ „Критики Отвлеченныхъ Началъ“ Соловьева, была дана намъ въ назиданіе.

На другой день намъ стало извѣстно черезъ тетушекъ, что Чичеринъ въ восторгѣ отъ нашего съ нимъ разговора. Онъ былъ въ особенности доволенъ, разумѣется, нашимъ совершенно неожиданнымъ для него *основательнымъ* знакомствомъ съ германскими философами, удивлялся самой возможности такого явленія въ вѣкъ „философскаго невѣжества и безвкусія“, которое олицетворялось для него позитивизмомъ. Онъ говорилъ даже, что мы оживили его надежды на будущее Россіи. Съ тѣхъ поръ завязались между нами отношенія, продолжавшіяся до конца жизни Чичерина, съ нашей стороны полныя глубокаго уваженія и сочувствія, а съ его стороны — неизмѣнно прямыя, доброжелательныя и сердечныя.

Въ моей памяти образъ покойнаго Бориса Николаевича врѣзался на всю жизнь какъ олицетвореніе совершенно исключительнаго душевнаго благородства. Въ непреклонной твердости его сужденій и мыслей было что то монументальное, гранитное. *Такой* степени прямоты мысли и сердца, какая отличала его, я не помню ни у кого другого. Его слово не могло расходиться съ его мыслью даже въ незначительныхъ оттѣнкахъ. Для него было органически невозможнымъ называть вещи иначе, какъ полными ихъ именами. Если онъ находилъ какой либо поступокъ подлымъ, а какую нибудь мысль глупою, онъ такъ прямо и говорилъ: это подло, а то глупо, совершенно не думая о томъ, что совершившій подлое или помыслившій глупое находились тутъ же, въ той комнатѣ.

Помнится, какъ то разъ, когда мы были уже профессорами университета, онъ былъ недоволенъ одною изъ раннихъ статей моего брата — „О природѣ человѣческаго сознанія“. „Вотъ удивительное свойство славянофиловъ, — говорилъ онъ мнѣ, — они изгадили рѣшительно все то, къ чему они имѣли малѣйшее соприкосновеніе. Вотъ хотя бы Вашъ братъ, Сергѣй Николаевичъ, вѣдь, кажется, умный и образованный человѣкъ. А какую онъ ерунду написалъ о природѣ человѣческаго сознанія; вотъ, что значитъ славянофильская школа“. Помню однажды его столкновеніе на одномъ вечерѣ съ В. О. Ключевскимъ. Тотъ осторожно доказывалъ Чичерину, что онъ и его единомышленники напрасно вышли въ отставку изъ Московскаго Университета въ шестидесятыхъ годахъ. Чичеринъ, ушедшій по принципіальнымъ основаніямъ, вслѣдствіе вызваннаго интригой Каткова недопустимаго нарушенія университетской автономіи со стороны правительства, — стоялъ на своемъ. — „Но вѣдь Вы недостаточно считались съ обязанностью повиновенія, — продолжалъ Ключевскій, — самъ Государь выразилъ желаніе, чтобы Вы остались“. — „Вы называете это обязанностью повиновенія, — отвѣчалъ Чичеринъ, —

а съ моей точки зрѣнія дѣлать противное совѣсти по Высочайшему повелѣнію — значитъ дѣлать гадость и подлость". Ключевскій, разумѣется, былъ сильно уязвленъ: присутствующимъ стоило много труда замять этотъ разговоръ и затушевать черезчуръ рѣзкій и грозившій ссорою инцидентъ.

Помню остроумную характеристику этой особенности характера Чичерина, данную однажды его другомъ, покойнымъ Федоромъ Михайловичемъ Дмитріевымъ. „Положимъ, — говорилъ онъ, — художнику надо писать съ васъ портретъ, а у васъ некрасивый профиль. Одинъ васъ попроситъ: пересядьте, чтобы я могъ рисовать васъ en face, эта поза гораздо лучше идетъ къ вашей наружности. А другой просто скажетъ: какой у васъ уродливый и длинный носъ; пересядьте такъ, чтобы какъ нибудь скрасить его безобразіе. Вотъ этотъ художникъ второго типа напоминаетъ мнѣ Бориса Николаевича".

Къ чести Б. Н. Чичерина надо сказать, что, говоря прямо въ лицо другимъ безъ обиняковъ все, что онъ думалъ, онъ нисколько не обижался, когда ему платили тою же монетою. Помню какъ то разъ за оживленнымъ профессорскимъ обѣдомъ сидѣвшій рядомъ съ нимъ Н. А. Звѣревъ спросилъ у него, какого онъ мнѣнія о докторской диссертаціи Боголѣпова. „Какого я мнѣнія, — сказалъ Чичеринъ, — мнѣ остается только развести руками. Я не могу понять, какъ такая чепуха могла зародиться въ человѣческой головѣ". — „Прямолинейный вы человѣкъ, клинообразный вы человѣкъ, — вдругъ завопилъ порядочно подпившій Звѣревъ, — вы не умѣете прощать людямъ ихъ молодыхъ увлеченій". Чичеринъ сталъ спорить, но Звѣревъ настойчиво повторялъ: „клинообразный вы, прямолинейный, прямолинейный, клинообразный". Чтобы прервать этотъ, казалось мнѣ, очень обострившійся разговоръ, я поспѣшилъ произнести какой то тостъ. Всѣ чокнулись, встали, перемѣшались; но, усѣвшись, Звѣревъ опять взялся за свое:

„клинообразный, прямолинейный“ заладилъ онъ безъ конца. Я съ ужасомъ взглянулъ на Чичерина, но сразу успокоился: онъ сохранялъ свое обычное олимпійское спокойствіе и продолжалъ съ полной невозмутимостью разговаривать съ тѣмъ же Звѣревымъ о Боголѣповѣ!

Рѣзкость сужденій Бориса Николаевича о его современникахъ и почти о всемъ современномъ объясняется его духовнымъ одиночествомъ. Гегельянецъ въ концѣ XIX столѣтія, онъ казался человѣкомъ съ другой планеты, единственнымъ представителемъ традицій сороковыхъ годовъ въ восьмидесятые и девятидесятые годы. Всѣмъ теченіямъ жизни и мысли, которыя въ то время боролись вокругъ него, онъ былъ одинаково чуждъ. О современномъ ему позитивизмѣ онъ говорилъ совершенно справедливо: „что нужно для того, чтобы быть позитивистомъ? Достаточно не знать философіи“. О Соловьевскомъ мистицизмѣ онъ говорилъ, что это „уничтоженіе науки“. Въ то же время въ искусствѣ царствовалъ или тотъ же мистицизмъ въ лицѣ Достоевскаго, или реализмъ типа Зола, характеризовавшійся для Чичерина его любимымъ выраженіемъ: „остается развести руками“. Въ политикѣ опять таки двѣ чуждыя ему противоположности: или безумно реакціонное теченіе „эпигоновъ славянофильства“ — Каткова и комп., или столь же безумный лѣвый соціалистическій радикализмъ, стремившійся осуществить чисто матеріалистическія начала въ жизни. Правда, посрединѣ были либеральныя теченія; но и они были чужды Борису Николаевичу во первыхъ потому, что они были болѣе или менѣе связаны съ позитивизмомъ, и во вторыхъ потому, что они шли на тѣ или другіе компромиссы съ соціалистическими началами. Чичерину хотѣлось того чистаго либерализма безо всякихъ амальгамъ, котораго въ Россіи не было.

Онъ вообще не терпѣлъ никакихъ амальгамъ, не былъ способенъ ни къ какимъ уступкамъ, согла-

шеніямъ и компромиссамъ. Поэтому всѣ окружавшія его теченія жизни и мысли представлялись ему одинаково „нелѣпыми“. Среди нихъ онъ оставался непоколебимымъ, какъ скала, и „разводилъ руками“. Мысль его до конца его жизни осталась совершенно чистою струей, которая ни съ чѣмъ не смѣшивалась, не восприняла въ себя изъ окружающей духовной атмосферы рѣшительно никакихъ вліяній. Какъ абсолютная мысль въ „Логикѣ“ Гегеля, она развивалась „сама изъ себя“. Это было возможно лишь благодаря совершенно исключительной, рѣдкой, особенно въ Россіи, непреклонности и твердости духа. Этимъ объясняется трагедія его умственной жизни. Органически чуждый своему вѣку, онъ не былъ имъ ни понятъ, ни воспринятъ. Ученыя изслѣдованія его оставили замѣтный и даже весьма крупный слѣдъ въ наукѣ государственнаго права; но какъ философъ, онъ совершенно прошелъ мимо современнаго поколѣнія. Несмотря на обиліе его философскихъ произведеній, его просто на просто *не знаютъ*. Въ изреченіи Соловьева, который въ пылу полемики назвалъ его „Пиѳагоромъ безъ пиѳагорейцевъ“, была большая доля правды.

Указанная трагедія духовнаго одиночества Чичерина усугублялась тѣмъ внутреннимъ противорѣчіемъ, которое обусловливается самой цѣльностью его духовнаго облика. Съ одной стороны какъ гегельянецъ, онъ вѣрилъ, что *все существующее разумно*. Съ другой стороны, въ силу непримиримо отрицательнаго отношенія къ современности, все въ ней казалось ему сплошнымъ безуміемъ и безсмыслицей. „Борисъ Николаевичъ, — сказалъ я ему какъ то разъ, — вѣдь вы въ сущности отступаете отъ Гегеля, допуская совершенно ему чуждое хронологическое ограниченіе мірового разума. У васъ „все существующее разумно“, но только до 1850 года“. — „Нѣтъ, оно и послѣ того разумно, но разумъ настоящаго отъ насъ скрытъ, — мы его не видимъ“, — отвѣчалъ онъ мнѣ. Это

былъ уже не гегелевскій разумъ, а что то другое, напоминающее христіанское ученіе о Провидѣніи, обращающемъ зло въ добро: ибо этотъ невидимый смыслъ надъ безсмыслицей современности ей трансцендентенъ, тогда какъ Разумъ въ гегелевскомъ его пониманіи *имманентенъ* дѣйствительности. Гегель умѣлъ находить абсолютную мысль во всемъ развитіи человѣческой мысли, даже въ наиболѣе, казалось бы, чуждыхъ ему философскихъ ученіяхъ; отбрасывать все чуждое, какъ необъяснимую „ерунду", и „разводить руками" было совсѣмъ не въ его духѣ. И матеріализмъ, и эмпиризмъ, и мистицизмъ, и реализмъ въ искусствѣ, и соціализмъ, — вообще всѣ тѣ теченія умственной жизни, которыя попросту *отбрасывались* Чичеринымъ, оказались бы для Гегеля моментами діалектическаго развитія абсолютной мысли.

Вообще Борисъ Николаевичъ производилъ единственное въ своемъ родѣ впечатлѣніе человѣка, для котораго міровой разумъ былъ *весь въ прошломъ*. Борисъ Николаевичъ не видѣлъ его не только въ *настоящемъ*, онъ не ждалъ ничего хорошаго и отъ *будущаго*, не чуялъ въ немъ никакого просвѣта. Несмотря на панлогизмъ, который, казалось бы, долженъ вести къ чрезвычайно оптимистическому міровоззрѣнію, настроеніе Бориса Николаевича въ общемъ было чрезвычайно пессимистическимъ. Его всегдашняя бодрость обусловливалась не какими либо ожиданіями и надеждами, а скорѣе тѣмъ философскимъ стоицизмомъ, который давалъ ему силу претерпѣть всякія невзгоды.

Въ его жизни, какъ и въ его мысли, въ ту пору, когда я его близко узналъ, все было въ прошломъ. Онъ былъ *бывшій профессоръ*, ушедшій изъ университета, вслѣдствіе нарушенія автономіи; вернуться въ университетъ при полномъ *отсутствіи* автономіи, онъ, конечно, бы не могъ. Поступить на какую либо службу онъ бы могъ еще менѣе, такъ какъ служба на высокихъ должностяхъ въ то время

была неизбѣжно связана съ компромиссами, совершенно несовмѣстимыми съ его нравственнымъ обликомъ. Его рукописные мемуары полны воспоминаніями о такихъ компромиссахъ съ совѣстью многихъ прежнихъ друзей и товарищей. Одному изъ нихъ онъ какъ то писалъ: „что ты дѣлаешь въ твоемъ поганомъ сенатѣ“? Могъ ли служить человѣкъ, для котораго даже ношеніе ордена казалось компромиссомъ съ совѣстью? Самъ же онъ со смѣхомъ читалъ при мнѣ характерный отрывокъ изъ своихъ воспоминаній о покойномъ наслѣдникѣ-цесаревичѣ Николаѣ Александровичѣ, воспитателемъ коего онъ былъ. Въ день рожденія своего царственнаго воспитанника онъ былъ вынужденъ надѣть ордена. „Какъ, — воскликнулъ наслѣдникъ, — и вы, Борисъ Николаевичъ, въ орденахъ“. — „Очень жаль, Ваше Высочество, — сказалъ Чичеринъ, — что въ день Вашего рожденія пришлось такъ опоганиться.“ Малѣйшій внѣшній знакъ зависимости отъ кого бы то ни было казался ему невыносимымъ. Съ такимъ духовнымъ складомъ на государственной службѣ, разумѣется, не служатъ и въ лучшія времена, чѣмъ тогдашнее.

Въ минуту, когда я съ нимъ познакомился, онъ былъ вышвырнутъ за бортъ и изъ общественной службы — благодаря все той же необычайной прямотѣ и независимости сужденій. На обѣдѣ городскихъ головъ въ Москвѣ, въ дни коронаціонныхъ торжествъ императора Александра III-го, онъ произнесъ рѣчь о необходимости „увѣнчанія зданія“ русскаго государства народнымъ представительствомъ и, вслѣдствіе этого, былъ вынужденъ подать въ отставку. Съ тѣхъ поръ *бывшій* профессоръ сталъ на всю жизнь и *бывшимъ* общественнымъ дѣятелемъ. Въ смыслѣ *настоящаго* у него осталось только его родовое имѣніе „Караулъ“ Тамбовской губерніи, гдѣ онъ, бездѣтный, проживалъ съ своею женою Александрой Алексѣевной, да рабочій кабинетъ и библіотека, гдѣ онъ работалъ, не покладая рукъ, выпуская почти каждый годъ но-

вые и новые тома своихъ произведенiй. Отцомъ Борисъ Николаевичъ былъ тоже въ *прошломъ*, въ началѣ своей супружеской жизни: его единственная дочь скончалась очень рано, въ нѣжномъ возрастѣ.

Все его существованiе было обвѣяно элегiей. Усадьба его, расположенная среди дивной красоты парка при слiянiи двухъ рѣкъ — *Вороны и Панды*, окаймленныхъ лѣсистыми, высокими холмами съ вѣковыми елями и соснами, представляла собою чудный оазисъ среди черноземной пустыни. Вся красота мѣстности и, конечно, всѣ лѣса сосредоточиваются исключительно въ долинахъ рѣкъ. А чуть-чуть дальше прямыя, ровныя и безнадежно однообразныя линiи черноземныхъ полей. Среди этой безконечной плоскости русской равнины онъ самъ — такая же аномалiя, какъ его дивный паркъ и прелестная усадьба. Какъ могъ зародиться среди этихъ ровныхъ полей этотъ „самъ изъ себя развивающiйся" возвышенный идеализмъ русскаго западника!

На высокомъ холмѣ недалеко отъ церкви высился его уютный, симпатичный, помѣстительный, но, увы, почти пустой домъ; въ немъ тоже все было обвѣяно воспоминанiями о прошломъ, когда Кирсановскiй уѣздъ былъ полонъ людьми еще пушкинской эпохи. Борисъ Николаевичъ любилъ вспоминать про этихъ людей. Нетрудно понять, какую огромную роль играютъ воспоминанiя въ жизни, лишенной настоящаго. Неудивительно, что мемуары покойнаго мыслителя, къ сожалѣнiю, большей частью еще не изданныя, составляютъ самое яркое, привлекательное и художественное изо всего, что онъ написалъ. Въ нихъ чувствуется та горячность сердца, которая, разумѣется, не могла проявиться въ его ученыхъ трудахъ, тотъ духовный аристократизмъ, который такъ рѣзко контрастируетъ съ вульгарнымъ стилемъ современности. Въ этомъ противупоставленiи прошлаго настоящему все время чувствуется нота, такъ прекрасно передаваемая лермонтовскими стихами:

Да, были люди въ наше время,
Не то, что нынѣшнее племя,
Богатыри, не вы . . .

Замѣчательный отрывокъ изъ этихъ мемуаровъ, —„Воспоминаніе о Кривцовѣ“, — уже былъ гдѣ то напечатанъ. Въ общемъ это — красивая и поэтическая элегія старо-дворянской культуры сороковыхъ годовъ. Мнѣ она больше всего напоминаетъ его самого, какъ олицетвореніе той интимной, задушевной области этого большого, любящаго сердца, куда дано было проникать лишь немногимъ. Въ общемъ его жизнь и дѣятельность — красивая, благородная, но необыкновенно грустная страница изъ исторіи русской культуры. Это исторія человѣка, который пришелся не ко двору въ Россіи и былъ выброшенъ за бортъ жизнью, потому что онъ былъ слишкомъ кристальный, гранитный и цѣльный. Глубоко грустно думать о томъ, что столь рѣдкія душевныя его качества не были использованы Россіей. Остались послѣ него книги, въ числѣ коихъ есть весьма цѣнныя. Но самъ то онъ былъ больше и лучше своихъ книгъ; и именно это большее и лучшее въ немъ—его сердце — осталось втунѣ для родины: оно возмущалось, страдало, негодовало, — но не вліяло на окружающее, не могло участвовать въ строительствѣ жизни.

Грустно думать о томъ прекрасномъ, единственномъ въ своемъ родѣ, что вмѣстѣ съ нимъ навѣки исчезло. Ходятъ зловѣщіе слухи о томъ, что разгромленъ тотъ уютный домъ въ „Караулѣ“, который его такъ живо напоминалъ. Больно думать о спутницѣ его дней — Александрѣ Алексѣевнѣ, такой же, какъ онъ, кристальной и цѣльной; больная, полуслѣпая и, по всей вѣроятности, голодная доживаетъ она свою одинокую старость въ занятомъ большевиками Тамбовѣ. Больно думать обо многомъ. Но больнѣе всего сознавать, что мы живемъ въ вѣкъ хаотиче-

скаго разрушенія всѣхъ воспоминаній, украшавшихъ наше прошлое.

Пусть же перейдетъ въ потомство память объ этомъ необыкновенно стойкомъ человѣкѣ, который боролся съ вѣкомъ за тѣ великія духовныя сокровища, въ которыя онъ вѣрилъ. Кое что очень цѣнное онъ, безъ сомнѣнія, проглядѣлъ въ окружавшей его духовной атмосферѣ. Но въ общемъ онъ былъ правъ въ своей неуступчивости. Когда нибудь потомство, прочтя его мемуары, вспомнитъ, сколько было грубаго, пошлаго, вульгарнаго и низкаго въ томъ, что онъ отрицалъ. Тогда будущій историкъ вспомнитъ съ чувствомъ глубокаго нравственнаго удовлетворенія о его суровомъ и нелицепріятномъ судѣ надъ русской дѣйствительностью. Онъ пойметъ, что самая рѣзкость его сужденій обусловливалась возвышенными нравственными требованіями и горячей любовью къ родинѣ.

XII. Великосвѣтская Москва восьмидесятыхъ годовъ. Наши шарады.

Чтобы покончить съ характеристикою Москвы въ мои студенческіе годы съ 1881 по 1885 годъ, остается разсказать о жизни тѣхъ общественныхъ круговъ, которые я въ то время могъ наблюдать.

Какъ сказано, общественной жизни тогда или вовсе не было, или было очень мало. Мнѣ приходилось наблюдать почти исключительно жизнь частную, домашнюю, въ которой тогда еще сохранились кое какіе остатки старо-дворянскаго великолѣпія и соотвѣтствующихъ дворянскихъ нравовъ.

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ. Мнѣ какъ то трудно себѣ представить, что въ то время для „дамы изъ общества“ считалось непринятымъ сидѣть въ партерѣ театра, — у нея обязательно должна была

быть ложа; для нея признавалось совершенно неподобающимъ пользоваться извощиками: она должна была выѣзжать не иначе, какъ въ каретѣ, притомъ съ выѣзднымъ ливрейнымъ лакеемъ въ высокомъ цилиндрѣ. Помню, какъ, бывало, въ дни симфоническихъ концертовъ, куда съѣзжалась вся аристократическая Москва, прилегающія къ Дмитровкѣ улицы и сама Дмитровка были заняты безконечными вереницами каретъ съ гербами, которыя по окончаніи концерта въ Дворянскомъ Собраніи торжественно выкликались околодочными: „карр-е-е-тта графини С., ккаарретта княгини Г.“ При этомъ не всѣ отпускали карету домой на время самаго концерта, и кучера порядочно мерзли. Далѣе передпія самаго Дворянскаго Собранія были переполнены ливрейными лакеями съ узлами, охранявшими платья господъ и игравшими между собою весь вечеръ въ „стуколку“. Мужчины для этихъ симфоническихъ концертовъ и для сидѣнія въ ложахъ театровъ должны были наряжаться во фраки.

И ложа въ театрѣ, и карета, и выѣздной лакей, и французскій языкъ, замѣтно портившійся, но все еще господствовавшій, въ гостинныхъ, — все это были знаки сословнаго обособленія, которое тогда еще поддерживалось. На великосвѣтскихъ балахъ и пріемныхъ дняхъ тогдашняго московскаго дворянства еще нельзя было встрѣтить представителей московскаго именитаго купечества, какъ бы культурны и образованы они ни были. Мужчины-дворяне уже нарушили эту грань: молодые люди нерѣдко бывали на купеческихъ балахъ, но *женщины — никогда*. Онѣ все еще оставались вѣрными хранительницами сословности. Великосвѣтскія барышни выходили и выѣзжали не иначе, какъ подъ водительствомъ „шапрона“, т. е. пожилой особы, — матери, тетушки, гувернантки. Даже вдвоемъ съ женихомъ съ трудомъ пускали гулять; въ дни моей молодости это было смѣлымъ нововведеніемъ, только начинавшимъ прививаться.

При этомъ было чрезвычайно много парадной и декоративной старо-дворянской обрядности. Семейства, гдѣ были „выѣзжавшія барышни“, отъ времени до времени устраивали балы по вечерамъ или любительскіе спектакли и имѣли непремѣнно одинъ пріемный день въ недѣлю. А на ихъ знакомыхъ лежала повинность бывать на этихъ пріемныхъ дняхъ. Повинность, кстати сказать, весьма обременительная, особенно для молодыхъ людей, и требовавшая отъ нихъ огромной затраты времени. На пріемныхъ дняхъ должны были бывать всѣ, желавшіе получить приглашеніе на балъ или вечеръ въ данный домъ, и всѣ, бывшіе на вечерахъ, въ знакъ благодарности: это называлась — visite de digestion; кромѣ того, всякій, танцовавшій съ барышней, тоже долженъ былъ являться на пріемный день „представляться ея родителямъ“ или „благодарить за танцы“. А при этомъ баловъ въ разгарѣ сезона, въ Декабрѣ, Январѣ и до самаго Великаго поста бывало иногда по два, по три въ недѣлю. Балы были красивые, веселые, танцовали до упада, ужинали, опять танцовали и разъѣзжались часовъ въ пять — шесть утра. Но во сколько разъ проще, дешевле и привлекательнѣе можно было бы устроить веселье безъ всей этой громоздкой, скучной и ненужной обрядовой рутины.

Когда я былъ студентомъ, я въ общемъ не бывалъ на балахъ, за крайне рѣдкими исключеніями, а братъ мой не бывалъ на нихъ даже ни разу. Не то, чтобы это не было весело: нѣтъ, всѣ тѣ немногіе разы, когда я туда попадалъ, я, какъ и большинство танцовавшихъ *въ началѣ* выѣздовъ, — искренно веселился. Но тутъ нужно было выбирать: или балы, или философія, — средняго выхода не было. Кто становился на путь „выѣздовъ“, — тотъ долженъ былъ посвятить имъ себя всецѣло. О какихъ серіозныхъ занятіяхъ можетъ итти рѣчь, когда днемъ либо голова болитъ и глаза слипаются отъ вчерашней безсонной ночи, либо нужно дѣлать безконечные визиты. Я не знаю ничего болѣе утомительнаго, чѣмъ посѣщеніе

пріемныхъ дней, гдѣ нельзя даже двумя тремя словами перекинуться изъ за необходимости ежесекундно вскакивать передъ входящими почтенными старухами.

Я всегда себя спрашивалъ, для кого и для чего нужна эта канитель. Любители и любительницы пріемныхъ дней въ Москвѣ тогда встрѣчались; но это были рѣдкія исключенія, надъ которыми всѣ смѣялись. Помню, напримѣръ, изящнаго, молодившагося старика, корчившаго изъ себя маркиза, любившаго щегольнуть изученной дома французской фразой, тростью съ необыкновеннымъ набалдашникомъ, да визиткой по послѣдней модѣ отъ лучшаго Парижскаго портного. Помню, какъ онъ изящно изгибался, разговаривая съ такой же любительницей пріемныхъ дней — дамой. Ихъ привѣтствовали фразой — il faut vous mettre tous les deux sur un éventail. А они не почувствовали яда этого ироническаго комплимента и были довольны. Но такихъ на всю Москву было два — три, и обчелся. Въ общемъ же тогдашнее Московское общество совсѣмъ не страдало великосвѣтской пустотой. И, однако, всѣ такъ жили, даже люди весьма серьезные, потому что не представляли себѣ, какъ можно жить иначе.

Помню, что этотъ громоздкій великосвѣтскій аппаратъ съ его китайскими церемоніями почти всѣмъ былъ въ тягость. Онъ оставлялъ чувство гнетущей пустоты въ душѣ и необыкновенно дорого стоилъ карману. Веселіе баловъ увлекало молодежь въ первые мѣсяцы, въ лучшемъ случаѣ въ первый годъ выѣздовъ. Но въ концѣ концовъ, и душа, и тѣло утомлялись отъ этой жизни, не оставлявшей времени, чтобы связать двѣ мысли вмѣстѣ. И, однако, люди были рабами преданія. Съ поконъ вѣка было принято, что „молодые люди должны видѣться на балахъ“. И вотъ, молодой человѣкъ долженъ былъ „вытанцовывать жену“, а молодая дѣвушка — мужа. Важное же дѣло въ жизни — супружество — рѣшалось за какимъ нибудь котильономъ или мазуркой, въ обстановкѣ, почти

устранявшей возможность близкаго знакомства, потому что серьезный разговоръ на балу былъ частью невозможенъ, частью же не принятъ, какъ признакъ смѣшного педантизма.

Уже задолго до революціи все это упростилось, — пропасть лишняго балласта была выброшена за бортъ. Приходится жалѣть не объ этихъ, уже въ моей молодости отживавшихъ обломкахъ стараго быта, а о многомъ другомъ утраченномъ.

Я говорю не объ однѣхъ серьезныхъ сторонахъ жизни. Были въ моей молодости радостныя картины безграничнаго веселья, относящіяся къ той же эпохѣ, о которыхъ мнѣ и сейчасъ весело вспомнить. Для будущаго русской молодежи я бы отъ души желалъ, чтобы повторялись имъ наши развлеченія, которыя увлекали и радовали игрой ума и блескомъ яркаго таланта.

А такія были. — Помню, напримѣръ, цѣлую зиму въ Москвѣ, когда въ одномъ родственномъ домѣ разыгрывались блестящія, исключительныя по остроумію шарады, разраставшіяся въ цѣлые маленькіе спектакли. Это было возможно благодаря присутствію среди исполнителей трехъ большихъ талантовъ, изъ коихъ двое — графъ Федоръ Львовичъ Сологубъ и мой братъ Сергѣй — разрабатывали сюжетъ шарады въ стихахъ, а третій — Николай Андреевичъ Кислинскій полагалъ эти стихи на музыку. Получалась собственно уже не шарада, а цѣлая оперетка съ увертюрой, хорами и аріями. — Въ концѣ концовъ авторы съ шарады прямо перешли на оперетки, которыя они сочиняли, а затѣмъ тутъ же разучивали и ставили. Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній были перлами остроумія литературнаго и въ то же время музыкальнаго.

Такова была, напримѣръ, исполненная нами дважды шарада „Баянъ", темой для которой послужило призваніе варяговъ. Кислинскій написалъ и исполнилъ на роялѣ увертюру къ этой пьесѣ, въ которой удивительно ловко сплетались три ея руководящихъ мотива,

— славянскій мотивъ безпорядка, *нѣмецкій* мотивъ варяговъ „Lieber Augustin“ и, наконецъ, торжествующій *мотивъ порядка*, канвой для котораго послужила бѣдная и однообразная тема „церемоніальнаго марша“. Безпорядокъ изображался нестройными хроматическими руладами въ началѣ увертюры. Потомъ какъ будто издали появлялся мотивъ „Lieber Augustin“ и вступалъ въ борьбу съ хаосомъ хроматическихъ звуковъ. Хаосъ, въ началѣ срывавшій и заглушавшій „Augustin“, къ серединѣ увертюры слабѣлъ и, наконецъ, исчезалъ, а радостная „Augustin“ переплеталась съ тяжелою и мѣрною поступью „церемоніальнаго марша“, который въ концѣ концовъ побѣдно гремѣлъ, разростаясь въ громкое и громоздкое плацпарадное торжество. — Кислинскій не пожалѣлъ красокъ и тріумфъ порядка звучалъ у него необыкновенно забавно. Композиція увертюры и всей вообще музыки шарады была настолько талантлива, что присутствовавшій при исполненіи піесы П. И. Чайковскій обратилъ вниманіе на Кислинскаго и имѣлъ съ нимъ долгій разговоръ: онъ убѣждалъ его серьезно заниматься, предлагалъ свое содѣйствіе и приглашалъ къ себѣ на домъ.

Развитіе сюжета въ пьесѣ было таково же, какъ и въ увертюрѣ. — Въ началѣ — дикія сцены безпорядка подъ аккомпаниментъ хроматическихъ руладъ. — Одинъ „умыкаетъ дѣвицу“, другой мажетъ по губамъ и бьетъ Перуна. Тутъ же группа у костра, которая „жаритъ сапоги въ смятку“, — „любимое славянское кушанье“. — Пѣвецъ Баянъ поетъ о привольномъ житіи на Руси и о прелестяхъ безпорядка:

Ни исправника, ни министра
Не встрѣчалъ я на Руси проживаючи;
Вольно брагу пьютъ, вольно кушаютъ,
Вольно ходятъ на Руси обыватели.

И вдругъ среди хаоса предостерегающая рѣчь вѣщаго старца Гостомысла, предсказывающая печальный конецъ безпорядка.

Уже бо дивъ вержеся съ неба на земли,
И говоръ птичій убуди.
(Голоса въ народѣ: убуди, убуди, это онъ такъ точно).
Уже бо очи мои мысленнія въ край моря летаючи,
Ладьи соглядаючи,
Провидятъ нѣкое облое судно ко брегу русскому поспѣшающее
И на ономъ суднѣ три десницы, тростями помавающія,
Оле бедръ вашихъ посѣкновенію,
Оле въ кутузкахъ вашему сидѣнію,
Оле грядущему вашему тяжкому плѣненію.

Вдали слышится „Augustin", показываются три лодки въ морѣ и изъ нихъ выходятъ съ дружиной подъ звуки церемоніальнаго марша Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ. Первый говоритъ исключительно по русски, но съ явнымъ нѣмецкимъ акцентомъ, второй мѣшаетъ русскія и нѣмецкія слова, а третій — исключительно по нѣмецки. — Хоръ славянъ встрѣчаетъ пришельцевъ гимномъ, представляющимъ явную пародію на знаменитую тогдашнюю передовицу Каткова: „встаньте, господа, посторонитесь, Правительство идетъ".—

Съ заката солнце красное
На этотъ разъ встаетъ.
Правительство прекрасное
Къ намъ съ запада идетъ.
Правительство, правительство,
Правительство идетъ.
Давно ему пора, давно ему пора.
Порядокъ намъ, порядокъ намъ,
Порядокъ намъ несетъ,
Ура, ура, ура, ура, ура.

Характерно, что по просьбѣ домашней цензуры фраза, слишкомъ напоминавшая Катковскую передо-

вицу, была измѣнена: вмѣсто „правительство“ и т. д. мы пѣли: „смотрите кто, смотрите кто, смотрите кто, смотрите кто идетъ“.—

За симъ варяги немедленно наводятъ порядокъ. Наивный славянинъ Янъ Усмошвецъ спрашиваетъ Аскольда, гдѣ его могила: „скажите ради Бога, гдѣ же я видѣлъ Аскольдову могилу“. Яна хватаютъ и моментально приносятъ въ жертву Перуну. Кій, Щекъ и Хоривъ въ негодованіи призываютъ къ возстанію въ воинственныхъ куплетахъ.

Льготы древнія попрали
Наши лютые враги,
Запретили, отобрали
Въ смятку, въ смятку сапоги.

Они бѣгутъ на Кіевъ, гдѣ еще можно „жарить сапоги въ смятку“. А Рюрикъ посылаетъ за ними погоню, которая идетъ гусинымъ шагомъ подъ звуки церемоніальнаго марша: „Ваше-ство, Вашескобородіе“, кричитъ вслѣдъ Гостомыслъ, — „тамъ не пущаютъ“.

Въ борьбу національныхъ мотивовъ вплетается романическій эпизодъ между Баяномъ и сестрой Рюрика Амаліей. — Онъ увлекаетъ ее русскими мелодіями, а она отвѣчаетъ съ нѣмецкимъ акцентомъ на мотивъ „Augustin“.

Эти звуки наполняютъ
Сердце мнѣ Ба-янъ.
Твои пѣсни причиняютъ
Мнѣ большой изъ-янъ.

Рюрикъ застаетъ сестру съ пѣвцомъ и разражается угрозами. „Слушайтъ, сестра Amalie: если я еще разъ увижу васъ съ эти господинъ: also wenn ich dich noch einmal sehe mit diesem Kerle“ — и потрясаетъ кулакомъ въ воздухѣ.

Кончается оперетка дуэтомъ Амаліи и Баяна на берегу Днѣпра. — Застигнутые врасплохъ погоней

Рюрика они, взявшись за руки, бросаются въ воду. — Рюрикъ, явившійся слишкомъ поздно, кричитъ въ отчаяніи:

„Отнынѣ я не шиловекъ, а правителъ.“

И уводитъ свою дружину гусинымъ шагомъ подъ звуки церемоніальнаго марша. Гостомыслъ, выступивъ на авансцену, произноситъ лаконическую фразу:

„Отнынѣ сумнительному поведенію кры-ы шка.“

На этомъ занавѣсъ падаетъ.

Сколько было задумано и написано въ этомъ родѣ: оперетка „Троянцы“ съ фугой героевъ въ деревянномъ конѣ, оперетка „Камбасересъ Стыдливый или рыцарь полупризрачнаго покрывала“ (эти двѣ исполнены не были), была пародія съ куплетами на дѣтскую пьесу „Симеонъ Злочестивцевъ“. Была разыграна цѣлая оперетка „Альфонсо двадцать пятое“, гдѣ бездѣтная королевская чета заказываетъ наслѣдника алхимику, и онъ „путемъ алхимическимъ“ составляетъ имъ сына въ ретортѣ. Все это было остроумно, музыкально, изящно, а главное, — необычайно весело и смѣшно.

Вспоминая дни нашей молодости, я съ благодарностью думаю о томъ, какая богатая жизнь выпала на нашу долю. Сколько въ ней было и итереснаго, увлекательнаго, съ какими значительными людьми мы встрѣчались, какіе горизонты открывались въ этихъ встрѣчахъ. А рядомъ съ этимъ — какой избытокъ бьющаго ключомъ молодого веселья. По сравненію становится больно думать о нашихъ дѣтяхъ, которымъ довелось жить въ эпоху бурь, страданій и лишеній. Какъ радостно мы жили и какъ они, бѣдные, теперь видятъ мало счастья въ жизни.

Я не вѣрю въ гибель Россіи, я убѣжденъ, что еще будутъ лучшіе дни. Но когда они наступятъ? Нашему поколѣнію не на что жаловаться. Что бы съ нами ни случилось въ будущемъ, разъ есть у насъ это прошлое, мы не были обездолены. Но чего бы я не отдалъ за то, чтобы хотя бы *имъ*, которые столько натерпѣ-

лись въ молодости, дано было увидать и пережить то лучшее, на что я надѣюсь.

Господи, спаси ихъ и сохрани.

XIII. Военная служба.

Весною 1885 года я кончилъ курсъ университета кандидатомъ правъ и тотчасъ же поступилъ въ стоявшій въ Калугѣ Кіевскій Гренадерскій полкъ для отбыванія воинской повинности на правахъ вольноопредѣляющагося.

Собственно говоря, я могъ этого и не дѣлать, такъ какъ М. М. Ковалевскій положительно обѣщалъ мнѣ оставить меня при Университетѣ, что освобождало отъ отбыванія воинской повинности. Но мнѣ хотѣлось быть самостоятельнымъ по отношенію къ будущей университетской службѣ. — Мнѣ рисовалась возможность когда нибудь по долгу совѣсти быть вынужденнымъ подать въ отставку изъ профессоровъ. Перспектива — отбывать воинскую повинность *послѣ* этого въ качествѣ рядового, быть можетъ, въ очень почтенномъ возрастѣ, мнѣ не улыбалась, и я рѣшился *на всякій случай* отбыть ее заранѣе. Это было въ то время не трудно, такъ какъ отъ вольноопредѣляющихся перваго разряда по образованію требовалось всего только *три мѣсяца* службы во время лагернаго сбора.

Выборъ полка обусловливался давно созрѣвшими симпатіями. — Вслѣдствіе долгаго пребыванія полка въ Калугѣ, мы хорошо знали многихъ офицеровъ и въ особенности полкового командира — полковника Александра Константиновича Маклакова. Послѣдній — представитель исчезнувшаго теперь, къ сожалѣнію, типа военнаго добраго стараго времени, давно уговаривалъ меня поступить къ нему: „идите ко мнѣ, — не идите въ артиллерію“, — настаивалъ онъ, — „у меня будете солдатомъ, а въ артиллеріи — филармономъ“, слово „филармонъ“ для него означало не то музыканта, не то штатскаго. — „Не безпокойтесь за Вашего сына“, го-

варивалъ онъ отцу: „я о немъ позабочусь, — вѣдь я и самъ отецъ“.

Чудачества Александра Константиновича были хорошо извѣстны мнѣ, какъ и всѣмъ калужанамъ, но все таки при поступленіи въ полкъ онъ превзошелъ мои ожиданія. Когда вольноопредѣляющихся, вступившихъ въ полкъ, приводили къ присягѣ въ нашемъ полковомъ лагерѣ, онъ разразился рѣчью, которая относилась лишь въ меньшей своей части ко всѣмъ присягавшимъ, а въ большей своей части, — ко мнѣ одному.

Выдвинувшись впередъ, онъ началъ подбоченившись. — Понимаете ли вы, что такое присяга? — Ты даешь вексель. Если ты по векселю не уплатишь, не исполнишь своего гражданскаго слова, тебя посадятъ въ кутузку. Если же ты присягу, — слово Царю — данную передъ святымъ Евангеліемъ, нарушишь, что съ тобой за это будетъ? Служить!!! — властно крикнулъ онъ и, помолчавъ на наше „рады стараться, Ваше Высокоблагородіе“, онъ продолжалъ, обращаясь уже ко мнѣ одному:

— „Ты думаешь, что служба это все равно, какъ твоя гражданская профессорская книжка, которую ты сегодня открылъ, а завтра закрылъ да бросилъ. Нѣтъ, братъ, служба не такая штука. — Вѣдь твои профессора между собою грызутся?.“ — Я молчалъ. — „Грызутся, грызутся?“ грозно настаивалъ полковникъ. — „Такъ точно, Ваше Высокоблагородіе, бываетъ“, промолвилъ я.

— „Ну, грызутся, загрызутъ и тебя, продолжалъ полковникъ. — Выйдешь изъ университета, пойдешь въ походъ подъ ранцемъ. — *Быть офицеромъ.*“

Я не былъ готовъ къ этой мысли — быть офицеромъ и сконфуженно молчалъ. — А полковникъ началъ уже въ болѣе мягкомъ стилѣ увѣщаніе: — „Ты не долженъ смѣшиваться съ солдатомъ. У тебя должно быть тѣло, мундиръ, пуговицы — солдатскіе, а дума — офицерская, потому стремленіе твое

должно быть не тамъ. — Служить, быть офицеромъ", — громко рявкнулъ онъ.

Это было уже приказаніе; я пробормоталъ — „Слушаю, Ваше Высокоблагородіе" и понялъ, что я теперь волею-неволею долженъ стать офицеромъ. Маклаковъ такъ меня и понялъ: онъ говорилъ, что я „*послѣ присяги*" обѣщалъ ему стать офицеромъ. Я же чувствовалъ себя связаннымъ, и это положило конецъ моимъ колебаніямъ: я окончательно рѣшилъ готовиться къ офицерскому экзамену.

Это было не такъ просто. Легкихъ экзаменовъ позднѣйшей эпохи на прапорщика запаса въ то время еще не было; надо было готовиться на подпоручика, что было много труднѣе. Къ тому же экзаменъ предстоялъ въ сентябрѣ, а поступилъ я въ полкъ въ началѣ іюня. Надо было умѣстить въ трехмѣсячный срокъ и строевыя занятія, и приготовленія: нужно было изучить къ экзамену шесть наукъ и десять уставовъ.

Полковникъ, сердечно любившій свой полкъ, хотѣлъ пріобрѣсти въ моемъ лицѣ хорошаго офицера. Поэтому за *мной слѣдили*. Полковникъ самъ иногда приходилъ по утрамъ въ мою четвертую роту — смотрѣть, какъ и чѣмъ я занимаюсь. А дядька — ефрейторъ, найдя въ моей палаткѣ „Критику силы сужденія" Канта, счелъ нужнымъ прочесть мнѣ наставленіе. „У Васъ, баринъ, есть на столѣ постороннія книги. — Вамъ нужно сейчасъ учить воинскіе уставы, а что тамъ дальше, то до Васъ не касается." И „Критика силы сужденія" лежала безъ употребленія — не въ силу дядькинаго наставленія, а просто потому, что на нее не хватало силъ и времени.

Меня усиленно обучали строю и „словесности"; и въ одинъ мѣсяцъ я былъ уже настолько подготовленъ, что сталъ въ строй и не портилъ фронта моей роты. Помню, что это давалось мнѣ цѣною значительнаго, хотя и здороваго утомленія. Оно было мнѣ даже пріятно, какъ отдыхъ отъ усиленной

умственной жизни. Даже приготовленія къ офицерскому экзамену шли сравнительно вяло въ первые два мѣсяца — тѣмъ болѣе, что послѣ утомительныхъ занятій я иногда отправлялся пѣшкомъ изъ отдаленнаго лагеря въ калужскій „Загородный садъ", гдѣ жили мои, проводилъ вечеръ въ игрѣ въ лаунъ-тенисъ и обязательно долженъ былъ возвращаться въ лагерь на другой день въ шесть часовъ утра. Я, однако, не жалѣлъ объ утомленіи и потерѣ времени, такъ какъ знакомство съ совершенно новымъ для меня полковымъ міромъ было для меня чрезвычайно интереснымъ.

Мой ротный командиръ — штабсъ-капитанъ П., недавно скончавшійся въ генеральскихъ чинахъ, былъ такъ же, какъ и полковникъ Маклаковъ, настоящимъ и хорошимъ военнымъ человѣкомъ добраго стараго времени. Начальство всегда считало его однимъ изъ лучшихъ офицеровъ, потому что порядокъ въ ротѣ у него былъ образцовый, а солдаты души въ немъ не чаяли, во первыхъ, за большую заботливость и сердечность, а во вторыхъ — за патріархальные способы управленія, въ особенности же за художественную брань, въ которой онъ былъ несравненнымъ мастеромъ. — „Хорошій капитанъ", — говорили они. — „Хучь енъ морду и ковыряетъ, ну никто какъ енъ не выругается." Брань Петра Ивановича всегда поддерживала веселое настроеніе въ его командѣ свою несравненною мѣткостью. „Эй ты, Жестянный," — кричалъ онъ слабосильному солдату, носившему фамилію „Желѣзный", — „что у тебя ружье изъ рукъ валится." И веселый шопотъ пробѣгалъ по ротѣ: „жестянный, слышь, какъ сказалъ, — жестянный." Но наиболѣе художественныя изобрѣтенія Петра Ивановича, дѣлавшія почти невозможнымъ удержаться отъ хохота, конечно, никогда не появятся въ печати. О нихъ трудно говорить даже въ видѣ намека, тѣмъ болѣе, что они всегда были новы и неожиданны.

А „ковырянье морды“ прощалось Петру Ивановичу, во первыхъ, потому, что оно обыкновенно замѣняло отвѣтственность болѣе тяжкую, чаще всего — отдачу подъ судъ; во вторыхъ, солдаты цѣнили то, что онъ въ этихъ случаяхъ билъ всегда плашмя, а не кулакомъ — безъ поврежденія зубовъ и челюстей. Происходило это обыкновенно такъ: тяжко провинившійся призывался къ капитану и ему сначала подносился текстъ закона, въ которомъ мелькали страшныя слова: „дисциплинарный батальонъ, арестантскія роты“ и т. п. Солдатъ блѣднѣлъ и съ трясущейся челюстью пытался валиться въ ноги. — „Уу-у сук-инъ ссынъ, — налеталъ на него капитанъ, — видѣлъ, что тебѣ по закону; а вотъ тебѣ по благодати, — разъ. два, три“. И тремя звонкими оплеухами снималась съ „преступника“ всякая дальнѣйшая отвѣтственность. Я собственными глазами видѣлъ подписку, данную молодымъ солдатомъ — дворяниномъ, котораго капитанъ такимъ способомъ „спасъ“ отъ тяжкой уголовной кары. „Клянусь Всемогущимъ Богомъ въ томъ, что никогда впредь не напьюсь пьянъ на службѣ; буде же сего клятвеннаго моего обѣщанія не исполню, прошу капитана П. наказать меня розгами.“

Это былъ, конечно, исключительный случай; но вотъ случай — болѣе обыденный. Служившій мнѣ деньщикомъ солдатикъ — въ общемъ изъ плохихъ и жестокій пьяница, разъ попался въ какомъ то очень и тяжкомъ проступкѣ. „Что съ тобою, Хомутовъ, — спросилъ я, заслышавъ его стоны и вздохи. — Охъ, плохо, баринъ, совсѣмъ плохо. — Да что же плохо? — Баринъ, — енъ за это обнаковенно морду ковыряетъ, а вотъ — не наковырялъ. — Ну такъ что же такое? — Охъ, пло-охо, должно подъ судъ отдать хочетъ.“

Такъ мучился и стоналъ солдатикъ весь день; но къ вечеру я засталъ его уже радостнымъ. Спрашиваю: „что жъ повеселѣлъ Хомутовъ? — *Нако-*

вырялъ", — отвѣчалъ онъ мнѣ, и все лицо его вдругъ озарилось блаженной улыбкой.

Позднѣе, уже въ дни первой революціи, я узналъ изъ разсказовъ Петра Ивановича новыя изумительныя иллюстраціи этого пристрастія къ „суду скорому и милостивому". Вольноопредѣляющійся-еврей въ его полку попался въ революціонной пропагандѣ. Дѣло грозило разстрѣломъ. — Что же Вы, Петръ Ивановичъ, — спросилъ я, — неужели подъ судъ отдали? — Зачѣмъ же губить, — съ доброй и лукавой улыбкой отвѣчалъ Петръ Ивановичъ. — Ну такъ какъ же? — Массажъ примѣнилъ, — отвѣтилъ онъ, и весь извнутри просіялъ.

Петръ Ивановичъ „не любилъ марать репутацію" солдатамъ. — У меня штрафной журналъ — бѣлый листъ, — говаривалъ онъ, — начальство обижается, спрашиваетъ: что же у Васъ, капитанъ, — святая рота, неужели никто никогда ни въ чемъ не провинился! — Никакъ нѣтъ, — говорю, Ваше Превосходительство. — Ну, да генералы, небось, это понимаютъ.

Разумѣется при темпераментѣ Петра Ивановича и при его вспыльчивости ему случалось превысить мѣру. „Фельдфе-е-бель," кричалъ онъ тогда зычнымъ голосомъ. Фельдфебель вытягивался передъ его палаткою. — На сколько дней Ивановъ просился въ отпускъ? — Такъ, что на два дня, Ваше Высокоблагородіе! — А сколько разъ я его въ морду двинулъ? — Такъ, что три раза, Ваше Высокоблагородіе. — Такъ отпустить его на три дня.

— „Господи, кабъ енъ мине четыре разъ двинулъ, на четыребъ дни и отпустилъ, — говорилъ обрадованный Ивановъ.

Не знаю, возможны ли еще теперь подобные нравы, но въ мое время солдаты предпочитали Петра Ивановича всѣмъ прочимъ командирамъ. Въ сосѣдней ротѣ капитанъ никогда „не касался личностей", не сквернословилъ и стоялъ „на строго законной почвѣ".

Его терпѣть не могли: „*пила*“ — говорили солдаты, — у его солдаты изъ наказаніевъ не выходятъ, — цѣльный день пилитъ. Замучилъ совсѣмъ. То ли дѣло Петра Иванычъ, — артистъ, одно слово“. Другіе, бившіе людей, были явно непопулярны, когда били не талантливо, жестоко, и при этомъ не обнаруживали сердечности въ отношеніяхъ къ людямъ.—„Что же это за капитанъ, говорили объ одномъ такомъ, — въ Страстной Пятокъ прощенія попроситъ, въ Великую Субботу пріобщится, въ Свѣтлое Воскресеніе похристосуется, а въ Свѣтлый Понедѣльникъ опять въ зубы дастъ.“ — Былъ и такой типъ, которой не билъ и не наказывалъ — добрый, но глупый человѣкъ, распустившій свою роту. Солдаты его не любили и просто на просто презирали.

Любили солдаты тѣхъ офицеровъ, которые *горячо* относились къ своему дѣлу и дѣлали его по совѣсти, не на *показъ*. Чего, чего не прощалось тѣмъ, которые погрѣшали именно изъ за этой горячности. — „Извѣстно, военное дѣло, говорили солдаты, покричитъ да въ морду дастъ, зато какъ онъ о солдатахъ заботится. Придешь на привалъ на маневрахъ — кому сухо спать, у кого сѣно или солома есть для солдата. Всегда у Петры Ивановича. Кто о больномъ позаботится? — всегда онъ, Петра Ивановичъ. А что онъ шумитъ, такъ пускай его шумитъ“. — Если полковая среда оставила во мнѣ на всю жизнь доброе воспоминаніе, это обусловливается именно присутствіемъ въ ней такихъ горячихъ людей. Все военное дѣло всегда держалось и держится этими немногими, которые дѣлаютъ его съ любовью.

Въ общемъ не легка была жизнь этихъ людей. Русскіе армейскіе офицеры моего времени — это были по преимуществу люди, обнесенные дессертомъ въ жизни. Трудно себѣ представить жизнь во всѣхъ отношеніяхъ болѣе бѣдную, чѣмъ ихняя. Я зналъ въ ихъ числѣ людей многосемейныхъ, которые бывали принуждены довольствоваться изъ солдатскаго котла.

потому что на иной обѣдъ у нихъ не было средствъ. А о степени безсодержательности и бѣдности ихъ жизни въ духовномъ смыслѣ можетъ составить себѣ понятіе лишь тотъ, кто наблюдалъ ее вблизи.

Отъ этой скудости офицеръ обыкновенно искалъ забвенія въ водкѣ. — Помню скатерть на небольшомъ столѣ. На ней нѣтъ ни одного живого мѣста безъ сальнаго пятна или краснаго слѣда наливки. На ней недопитыя рюмки водки со слѣдами сала отъ губъ. И всякаго вновь приходящаго неумолимо заставляютъ пить „одну — другую" — до восьми рюмокъ. Показать брезгливость передъ сальной рюмкой — значить смертельно обидѣть. А вокругъ стола сидятъ офицеры — красные, съ усталыми, осовѣлыми глазами. Это — компанія людей, которые часовъ съ двѣнадцати дня ежедневно пьяны. — „Смотрите на барона", указываютъ мнѣ на усатаго багрово-краснаго офицера. „Пріѣзжаетъ онъ разъ въ гостинницу, беретъ номеръ. У него требуютъ вида. А онъ вспылилъ — „пожалуйста безъ дерзости, я сегодня маковой росинки не пилъ, и *видъ* у меня такой же, какъ у Васъ". — Офицеръ этотъ со всегда заплетающимся языкомъ кончилъ тѣмъ, что ослѣпъ „отъ того, что ежедневно консомекалъ", какъ говорили его товарищи. И какъ мало нужно такимъ „завсегдатаямъ", чтобы опохмелиться. Двѣ — три рюмки на вчерашній хмель, офицеръ уже готовъ. Ежедневное нервное возбужденіе необходимо для этихъ людей, какъ способъ забыть, что у нихъ въ жизни рѣшительно ничего нѣтъ. Есть между ними такіе, которые, думается мнѣ, не вынесли бы жизни, если бы очнулись отъ хмеля. А разговоръ за столомъ — изо дня въ день все тѣ же всѣмъ надоѣвшія пьяныя остротки и шутки, да профессіональныя сплетни про военное начальство, либо военные анекдоты, двадцать разъ слышанные, про то, какъ поручикъ срѣзалъ генерала. Генералъ обратился къ нему на *ты,* а тотъ ему въ отвѣтъ: „скоро же мы съ тобою на *ты* сошлись." Или анекдотъ о томъ, какъ

деньщикъ нашелъ, что его офицеръ совсѣмъ похожъ „на лева". — Да гдѣ-жъ ты видѣлъ лева? — спрашиваетъ довольный офицеръ. „Да на иконѣ въ церкви, — Христосъ на емъ въ Іерусалимъ ѣдетъ". — Острота изо дня въ день повторявшаяся заключалась въ томъ, что офицеры разсказывали этотъ анекдотъ одинъ объ другомъ и при этомъ жирно смѣялись.

Нѣкоторое разнообразіе вносилось въ полковую жизнь „торжественными случаями" — пріѣздомъ начальства, полковымъ праздникомъ или просто полковымъ обѣдомъ, какіе устраивались иногда Маклаковымъ. Послѣдній не упускалъ случая сказать рѣчь, всегда исключительную по своему своеобразному военному стилю. — Помнится, полковой праздникъ совпалъ съ освѣщеніемъ полковой церкви, выстроенной для Кіевскаго полка городомъ Калугой въ лагерѣ. Былъ потомъ обѣдъ съ корпуснымъ командиромъ, головою и министромъ народнаго просвѣщенія Деляновымъ. Маклаковъ „закатилъ" подобающую случаю рѣчь. — Онъ сравнилъ полковую церковь съ тою „походною церковью", которая сопровождала евреевъ во всѣхъ ихъ странствіяхъ. „Христосъ", сказалъ онъ, — „подалъ намъ примѣръ военной дисциплины; онъ умеръ отъ того, что онъ повиновался, какъ и мы умирать должны отъ того, что мы должны повиноваться". Анекдотическій Деляновъ, сидѣвшій рядомъ, умилялся: „Мысли хорошія у полковника, мысли очень хорошія, но только можно было бы сказать покороче." Маклаковъ вообще любилъ смѣлыя сравненія изъ Священнаго Писанія: однажды, при открытіи городского водопровода, онъ такъ мотивировалъ свой тостъ въ честь городского головы: „легче было Моисею извлечь жезломъ воду изъ скалы, чѣмъ нашему Ивану Кузьмичу извести деньги изъ кармановъ нашихъ купцовъ на устройство водопровода".

Таковы были *верхи* полковой жизни. Что же касается низовъ, то есть солдата, то въ общемъ я сохранилъ о нихъ весьма симпатическое впечатлѣніе.

Въ особенности меня поражала ихъ безкорыстная услужливость. Бывало, мы отправлялись всею ротою купаться на Оку. Помню, какъ всякій солдатъ предлагалъ мнѣ нести мой узелъ съ бѣльемъ. Корысти, — видовъ на полученіе „на чай" тутъ несомнѣнно не было. Когда я въ первый разъ вышелъ на стрѣльбу, махальные, узнавъ, что „ихъ баринъ" стрѣляетъ, „намахали" мнѣ двѣ пули, между тѣмъ, какъ у меня не было ни одного попаданія. Они были очень высокаго мнѣнія о моемъ общественномъ положеніи, и поэтому моя служба на равной ногѣ съ ними очень льстила ихъ самолюбію: „по штатскому въ родѣ какъ полковникъ, а на царской службѣ — рядовой", такъ опредѣляли они меня.

Къ этому присоединялось и наивное удивленіе передъ моимъ образованіемъ и развитіемъ. — „Вотъ это, баринъ, — винтъ хвоста" — говорилъ мнѣ дядька, показывая сборку и разборку ружья, и тотчасъ переспрашивалъ: „какой это винтъ?" — Когда я повторялъ безъ осѣчки „винтъ хвоста" или еще болѣе трудное выраженіе — „винтъ хвоста задержки", — онъ приходилъ въ восторгъ. „Понялъ, *сразу понялъ*, восклицалъ онъ, иному некругу бьешься, объясняешь, а онъ въ два мѣсяца это не пойметъ". Когда меня стали обучать ходьбѣ и бѣгу подъ барабанъ, я, разумѣется, сразу сталъ маршировать и бѣгать, не сбиваясь съ такта, какъ бы не замедляли и ни ускоряли барабанный бой. — Это произвело впечатлѣніе чего-то геніальнаго: унтерофицеры со всей роты и съ другихъ ротъ удивленно глазѣли и восклицали: „Вотъ такъ такъ, — сразу понялъ, — иной солдатъ этого ни въ жисть не пойметъ".

Офицерскій экзаменъ, который я въ концѣ концовъ съ грѣхомъ пополамъ выдержалъ, — былъ сплошнымъ анекдотомъ. Маклаковъ, который очень дорожилъ моимъ будущимъ офицерствомъ, отпустилъ меня для этого отъ осеннихъ маневровъ, и я могъ готовиться съ перваго августа до половины сентября.

Этого, разумѣется, было болѣе, чѣмъ недостаточно, чтобы приготовить шесть наукъ и десять уставовъ. Потомъ въ юнкерскомъ училищѣ на первомъ же экзаменѣ тактики я чуть не погибъ. Мнѣ дали задачу — построить въ боевое расположеніе полкъ пѣхоты, двѣ батареи артиллеріи, да нѣсколько эскадроновъ кавалеріи. Планъ долженъ былъ быть сдѣланъ въ масштабѣ. Между тѣмъ раньше того я не только не умѣлъ чертить, мнѣ не пришлось рѣшать ни одной задачи въ жизни.

Со смѣлостью отчаянія я началъ чертить: гдѣ кругъ поставлю, гдѣ квадратъ, гдѣ крестикъ. — Теоретически я умѣлъ разсказывать соотвѣтствующія главы изъ тактики. Поэтому я вдругъ рѣшился: „господинъ полковникъ, сказалъ я, — задача готова".

„Разскажите, какъ Вы ее рѣшали", - сказалъ онъ мнѣ. — Это меня спасло: „теоретически" я умѣлъ разсказать очень много. Начальникъ юнкерскаго училища, въ общемъ свирѣпый полковникъ съ невѣроятными усами, видимо началъ смягчаться. „Ну, покажите, однако же, Вашъ чертежъ" — сказалъ онъ мнѣ. Тутъ я долженъ былъ обнаружить мой чертежъ, который до тѣхъ поръ я тщательно закрывалъ руками.

Полковникъ вдругъ какъ фыркнетъ и какъ швырнетъ чертежъ въ сторону. — „Послѣ, послѣ объ этомъ будемъ говорить". — И послѣ экзамена, также неважнаго, онъ сталъ разбирать мой чертежъ. — „Какъ Вы могли начертить то, что Вы начертили — *вопреки всему,* что Вы говорили. Вы говорите, что позиція должна стоять фронтомъ къ непріятелю, — она поставлена у Васъ какъ разъ флангомъ; Вы говорите, что артиллеріи нуженъ широкій обстрѣлъ; между тѣмъ она у Васъ жаритъ въ упоръ прямо въ лѣсъ. Что Вы сдѣлали съ Вашей кавалеріей, — Вы ее утопили въ ручьѣ. Ступайте домой". Я спросилъ сконфуженно, какъ же экзаменъ. — „Когда Вы провалитесь, Вамъ скажутъ, а теперь — кругомъ маршъ".

Хотя онъ на меня покрикивалъ и фыркалъ, юнкера, хорошо знавшіе своего начальника, были поражены его милостивымъ отношеніемъ и предрекали, что моя судьба рѣшена въ мою пользу: „теперь онъ будетъ Васъ за уши вытягивать, — у Васъ гвардейскій ростъ, а это онъ любитъ". — Такъ и случилось. Изъ тактики я получилъ всего шесть балловъ, прочіе же экзамены были благополучнѣе. Я выдержалъ, былъ переименованъ въ подпрапорщики и вернулся въ полкъ — дожидаться увольненія въ запасъ съ производствомъ въ офицеры. Маклакову было грустно со мной разставаться, — онъ уговаривалъ меня готовиться въ Военную Академію. — „Покажите Ваши силы, говорилъ онъ, — я, молъ, и не такого профессора сломаю, — военнымъ профессоромъ буду"; — къ огорченію его я остался непреклоненъ, но рѣшилъ его утѣшить. —

Защищая диссертацію pro venia legendi въ Демидовскомъ Юридическомъ Лицеѣ въ Ярославлѣ нѣсколькими мѣсяцами позже, я просилъ, чтобы въ провозглашеніи вердикта меня назвали: „кандидатомъ правъ и подпоручикомъ запаса". Маклаковъ, узнавъ объ этомъ, растаялъ. Когда въ слѣдующее лѣто я уже въ качествѣ гостя обѣдалъ на полковомъ праздникѣ, Маклаковъ, порядочно подвыпившій, поманилъ меня рукой и представилъ генералу: „Позвольте, Ваше Превосходительство, Вамъ представить подпоручика и профессора, который, когда его провозгласили . . ну, какъ бишь это у нихъ дѣлается, — когда ему сказали — ну Вы-магистръ, а онъ отвѣтилъ: Нѣтъ-съ, позвольте, я подпоручикъ Кіевскаго полка. — За его здоровье." — Генералъ всталъ и торжественно молвилъ: „Съ особымъ удовольствіемъ поддерживаю этотъ тостъ. Отрадно видѣть русскаго дворянина, который гордится прежде всего тѣмъ, что онъ — подпоручикъ Кіевскаго полка."

ЧАСТЬ II.

ГОДЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ

I. Начало преподавательской дѣятельности. Демидовскій Лицей.

Моя преподавательская дѣятельность по окончаніи курса Университета началась гораздо раньше, чѣмъ я считалъ это возможнымъ. Въ маѣ 1885 года я выдержалъ послѣдній университетскій экзаменъ, а въ апрѣлѣ 1886 года я уже получилъ званіе приватъ-доцента Демидовскаго Юридическаго Лицея въ Ярославлѣ.

Это оказалось возможнымъ благодаря своеобразной особенности устава Демидовскаго Лицея. Въ Университетѣ можно пріобрѣсти званіе приватъ-доцента не ранѣе, какъ черезъ три года по окончаніи курса; между тѣмъ въ лицеѣ можно получить это званіе когда угодно — при условіи защиты небольшой диссертаціи pro venia legendi и прочтенія двухъ пробныхъ лекцій.

Узнавъ объ этомъ отъ моего дяди — Бориса Алексѣевича Лопухина, который былъ въ то время Предсѣдателемъ Ярославскаго Окружнаго Суда, я уже зимою поспѣшилъ въ Ярославль и подалъ прошеніе о допущеніи къ защитѣ диссертаціи. — Въ качествѣ диссертаціи послужила мнѣ упомянутая уже брошюра „О рабствѣ въ древней Греціи“, — моя кандидатская работа. Совѣтъ Лицея постановилъ къ защитѣ меня допустить, а самую работу — напечатать во „Временникѣ“ Демидовскаго Юридическаго Лицея. Въ случаѣ успѣшной защиты предполагалось поручить мнѣ преподаваніе „Исторіи Философіи Права“, которая какъ разъ въ то время никѣмъ не преподавалась.

Профессоровъ, компетентныхъ въ той области, къ которой относилась моя работа, въ то время въ Лицеѣ не было, но я — двадцати-двухъ-лѣтній молодой человѣкъ — не отдавалъ себѣ отчета въ степени неподготовленности моихъ оппонентовъ и потому готовился къ диспуту съ большимъ волненіемъ. — Наканунѣ самаго диспута я провелъ ночь почти безъ сна.

Самъ по себѣ диспутъ на право приватъ-доцентуры — не Богъ вѣсть что. Но въ небольшомъ провинціальномъ городѣ, при отсутствіи иныхъ ученыхъ диспутовъ (Лицей ученыхъ степеней не давалъ), — онъ разросся въ цѣлое общественное событіе. — Съѣхался меня слушать весь городъ, — и губернаторъ и генералъ — Начальникъ дивизіи и иныя высокопоставленныя лица. Актовый залъ лицея былъ биткомъ набитъ. Когда я, подъѣзжая къ лицею, увидѣлъ вереницу каретъ, волненіе мое удвоилось; когда же передо мною предсталъ въ треуголкѣ и съ булавой швейцаръ, коего я доселѣ обыкновенно видалъ въ заштопанномъ и засаленномъ мундирѣ, я ощутилъ испугъ и даже минуту раскаянія. — Вотъ какая помпа ради меня, вотъ сколько народу съѣхалось меня слушать и вдругъ среди этой торжественной обстановки я провалюсь. Зачѣмъ я это все затѣялъ!

Когда я началъ вступительную рѣчь, я былъ успокоенъ твердымъ звукомъ моего голоса. Потомъ я былъ подбодренъ тѣми возраженіями, которыя мнѣ дѣлались. — Главный оппонентъ — профессоръ Полицейскаго Права — Иванъ Трофимовичъ Тарасовъ — между прочимъ спрашивалъ меня, какъ это я рѣшаюсь говорить о стихійномъ элементѣ, какъ изначальномъ моментѣ греческой религіи, между тѣмъ какъ „можно доказать, что стихійный моментъ былъ внесенъ въ греческую религію уже *послѣ Гомера*". Я ему указалъ, какъ у Гомера Зевесъ мечетъ молніи, а Посейдонъ приводитъ въ движеніе волны морскія, и онъ умолкъ: послѣ этого и нѣсколькихъ другихъ

возраженій въ этомъ родѣ я почувствовалъ себя полнымъ хозяиномъ диспута: мнѣ стало ясно, что я могу дѣлать съ моими оппонентами все, что хочу. — Второй оппонентъ — Владимиръ Егоровичъ Щегловъ могъ поставить на ноги лишь одно общее возраженіе, которое онъ примѣнялъ ко всякой исторической работѣ, о чемъ бы она не трактовала: „авторъ не въ достаточной мѣрѣ примѣнилъ рекомендованный Огюстомъ Контомъ сравнительно-историческій методъ".

Я до того успокоился, что сталъ съ интересомъ и вниманіемъ разглядывать отдѣльныя фигуры въ публикѣ. — Особенно развлекали меня въ первомъ ряду губернаторъ и генералъ, сидѣвшіе рядомъ. Оба, видимо, дремали и сидѣли, свѣсивши головы въ противоположныя стороны; меня забавляла мысль, что они оба вмѣстѣ образуютъ двуглаваго орла. Генералъ, впрочемъ, высказывалъ потомъ свои размышленія.

„Знаете что, Евгеній Ивановичъ", — говорилъ онъ Е. И. Якушкину — извѣстному изслѣдователю обычнаго права и весьма авторитетному въ Ярославлѣ человѣку, — „вотъ что я думаю по поводу диспутовъ. Рабство всегда будетъ, потому что всегда будутъ на свѣтѣ сильные и слабые, и слабые будутъ рабами сильныхъ". — „А что, Ваше Превосходительство, есть ли въ Вашей дивизіи люди сильнѣе Васъ", замѣтилъ тотъ. — „Это — другое дѣло", отвѣтилъ генералъ, — „я ихъ начальникъ".

Въ общемъ мой диспутъ и обѣ мои пробныя лекціи произвели на „совѣтъ лицея" весьма благопріятное впечатлѣніе, и искомое званіе было мнѣ дано, что преисполнило душу мою большою радостью. Нельзя сказать, однако, чтобы мои будущіе коллеги произвели *на меня* благопріятное впечатлѣніе. Наоборотъ: провинціальная академическая среда захолустнаго города оставила во мнѣ весьма безотрадное воспоминаніе. Не могу сказать даже, чтобы впечатлѣніе было сѣрое. Наоборотъ, въ числѣ моихъ новыхъ

товарищей были и весьма яркіе типы, съ которыми мнѣ приходилось переживать черезвычайно яркія страницы академической жизни, но, увы, — „яркіе“ не то въ гоголевскомъ, не то въ щедринскомъ, не то въ чеховскомъ смыслѣ слова.

Ярославль былъ по преимуществу городомъ *начинающихъ* молодыхъ профессоровъ. Въ немъ начали, напримѣръ, свое академическое поприще такіе выдающіеся ученые, какъ Владимирскій Будановъ, Дювернуа, Посниковъ, Дитятинъ, Сергіевскій. — Но люди одаренные и знающіе обыкновенно тотчасъ по написаніи перваго же ученаго труда получали приглашеніе на кафедру въ какой нибудь университетъ. Стремленіе въ болѣе крупный университетскій центръ составляло общую мечту всего преподавательскаго персонала. Естественно, что „засиживались“ въ Ярославлѣ наименѣе одаренные или же люди мало привлекательные по своимъ душевнымъ качествамъ. За мое шестилѣтнее пребываніе въ Ярославлѣ я помню лишь одного дѣйствительно талантливаго ученаго — Александра Евгеньевича Назимова, коего талантъ, впрочемъ, исчерпался всего только одной небольшой работой, послѣ которой онъ получилъ немедленно назначеніе въ Одессу. Былъ въ лицеѣ ученый экономистъ и весьма продуктивный по своему предмету писатель — А. А. Исаевъ; его многіе *считали* талантливымъ, въ особенности въ виду присущаго ему дара слова, — я же относительно его таланта остаюсь при особомъ мнѣніи. Былъ одинъ, котораго я не хочу называть, такъ какъ онъ, можетъ быть, еще живъ, — человѣкъ очень умный и одаренный, но растратившій и прожегшій смолоду всѣ свои духовные дары, ненаписавшій *ни одной* ученой работы. Совершенное исключеніе представлялъ собою профессоръ каноническаго права И. С. Суворовъ, — человѣкъ, хотя и не талантливый, но дѣльный и солидный ученый. Наконецъ, былъ еще Ш. — Директоръ Лицея, о которомъ нельзя говорить ни какъ о талантливомъ, ни какъ о бездарномъ про-

фессорѣ, потому что о немъ *какъ професоръ и человѣкъ* вообще серьезно говорить нельзя — Всѣ прочіе были либо посредственны, либо совершенно бездарны.

Впрочемъ, наиболѣе удручающее впечатлѣніе производили не способности преподавателей, а ихъ отношеніе къ наукѣ и преподаванію,—у однихъ откровенно ремесленнное и коммерческое, а у другихъ — циничное. Люди, любившіе науку ради нея самой, встрѣчались лишь въ видѣ крайне рѣдкаго исключенія. Помню, напримѣръ, характерный для духовной атмосферы Лицея разговоръ. — Вскорѣ послѣ моей женитьбы я усердно принялся за работу надъ магистерской диссертаціей. Узнавъ объ этомъ одна профессорша — хорошая, но совершенно не развитая женщина, съ удивленіемъ и почти съ негодованіемъ спрашивала мою жену. — „Зачѣмъ же это Евгеній Николаевичъ диссертацію пишетъ. Чѣмъ бы ему сидѣть съ молодой женой, а онъ за занятія. Нехорошо. Я понимаю, *моему* мужу нужно писать диссертацію. У насъ куча дѣтей и средствъ — никакихъ. А вамъ на что, — вѣдь вы люди состоятельные“. Для нея диссертація и ученая степень были интересны лишь какъ средства — получать увеличенный окладъ содержанія.

Въ профессорскомъ быту не рѣдкость — мужья, которые усваиваютъ эту точку зрѣнія отъ женъ. Впрочемъ, они и сами по себѣ къ ней предрасположены. — Съ первыхъ же дней моего поступленія я слышалъ отъ директора Лицея Ш. ходячую, какъ оказалось, остроту относительно докторскаго и магистерскаго знака. — „На магистерскомъ стоитъ буква *М*: это значитъ „*мало*“, а на докторскомъ — *Д.* — „*довольно*“. Это вѣрная характеристика средняго профессора: получивъ обѣ нужныя для ученой карьеры степени, профессоръ въ большинствѣ случаевъ на этомъ успокаивается и уже не издаетъ какихъ либо иныхъ ученыхъ трудовъ, кромѣ *курсовъ*, которые на юридическомъ факультетѣ составляютъ хорошую статью дохода.

Помню, какъ тотъ же директоръ Лицея убѣждалъ меня, чтобы я бросилъ философію права и вмѣсто нея занялся правомъ гражданскимъ. — „Что Вамъ стоитъ перейти на другую кафедру", увѣщевалъ онъ, „вѣдь цивилисты же гораздо нужнѣе философовъ". — Когда я ему объяснилъ, что къ философіи я съ юныхъ лѣтъ испытываю влеченіе, онъ меня просто не понялъ. „Ну такъ что жъ такое", возразилъ онъ, — „вотъ Вы и удовлетворили Ваше влеченіе, а теперь почему же не заняться другимъ". Онъ недоумѣвалъ, какъ я могу отказываться отъ предложенія столь выгоднаго. Цивилистовъ въ то время былъ въ самомъ дѣлѣ большой недостатокъ, и въ университетахъ при дѣйствіи устава 1884 года они начали зашибать огромные гонорары.

Былъ въ особенности одинъ вопросъ, въ которомъ ярко проявлялся этотъ житейскій матеріализмъ профессорской коллегіи. Преподаваніе по вакантнымъ кафедрамъ распредѣлялось между наличными профессорами при добавочной платѣ по двѣсти рублей за часъ по предмету другой кафедры. Понятно, что профессора, наиболѣе нуждавшіеся, стремились набрать возможно большее количество добавочныхъ часовъ. Часы эти распредѣлялись сплошь да рядомъ по соображеніямъ совершенно чуждымъ пользамъ преподаванія. — Одному давались часы, потому что онъ „многосемейный, и ему нечѣмъ обуть дѣтей". Другому — въ вознагражденіе за услуги или въ счетъ будущихъ товарищескихъ услугъ по принципу — do ut des: я буду голосовать за твои добавочные часы, съ тѣмъ, чтобы ты голосовалъ за мои. Отсюда часто происходили въ Лицеѣ совершенно не нужныя для преподаванія промедленія въ замѣщеніи вакантныхъ кафедръ. Вакантная кафедра была доходной статьей, съ которой было не особенно пріятно разставаться.

Черезъ годъ послѣ моего вступленія въ Лицей случился эпизодъ, который необычайно ярко охарактеризовалъ настроеніе профессуры и въ особенности

— ея взглядъ на преподаваніе. — Обыкновенно остатки отъ штатныхъ суммъ перечислялись по ходатайству Совѣта на пріобрѣтеніе книгъ для библіотеки Лицея. — Такъ какъ кафедры пустовали въ множествѣ, бюджетъ библіотеки выражался въ очень внушительныхъ цифрахъ, и юридическая наша библіотека была несомнѣнно одной изъ богатѣйшихъ въ Россіи. Однако, какъ ни велики были библіотечныя суммы, профессора привыкли выписывать книги безъ счета, выписывали часто даже такія книги, которыя были нужны собственно не для Лицея, а для ихъ частныхъ надобностей; таковы были, напримѣръ, медицинскія книги о леченіи тѣхъ болѣзней, коими они страдали и т. п.

Вслѣдствіи такого неосмотрительнаго расходованія въ одинъ прекрасный день Лицей вышелъ изъ смѣты и задолжалъ лейпцигскому книгопродавцу — Бэру небольшую сумму — всего нѣсколько тысячъ рублей. Профессоръ А. А. И-въ — одинъ изъ самыхъ вліятельныхъ профессоровъ, воспользовался этимъ, чтобы устроить на законной почвѣ одну изъ тѣхъ пакостей товарищамъ, на которыя онъ былъ большой художникъ и любитель. Зная стихійный страхъ директора передъ начальствомъ, онъ сталъ его систематически запугивать: „плохо, плохо наше дѣло", говорилъ онъ, — „нагоритъ намъ за этотъ долгъ изъ Петербурга". Въ концѣ концовъ И—въ придумалъ художественную комбинацію — сократить жалованіе приватъ-доцентамъ до двѣсти рублей каждому и *уменьшить количество часовъ преподаванія по незанятымъ кафедрамъ*, а вызванную этими сокращеніями экономію употребить на покрытіе библіотечнаго долга. Въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ велась компанія, чтобы подобрать нужное для проведенія этихъ мѣръ большинство Совѣта. Это оказалось нетруднымъ: въ Совѣтѣ въ то время было всего восемь голосовъ; изъ нихъ священникъ — профессоръ богословія — всегда голосовалъ съ директоромъ: при его участіи получи-

лось за предложеніе И-ва большинство пяти противъ трехъ.

Засѣданія Совѣта, долженствовавшія рѣшить вопросъ сопровождались бурными сценами. Меньшинство ясно доказывало неслыханное безобразіе такой мѣры, какъ сокращеніе преподаванія въ „цѣляхъ экономіи". Профессоръ И—въ отвѣчалъ глумленіемъ, которое вызвало рѣзкую выходку со стороны профессора Тарасова. — Слова послѣдняго были занесены въ протоколъ. Произошла сцена совершенно невообразимая. Профессоръ И-въ заявилъ, что онъ „такъ и быть даритъ господамъ протестантамъ прощеніе и согласенъ вычеркнуть изъ протокола слова профессора Тарасова". Тотъ вскочилъ съ крикомъ: — „какъ Вы смѣете; если директоръ не умѣетъ Васъ сдержать, я самъ научу Васъ приличію". И уронивъ кресло, онъ весь дрожащій съ крикомъ направился къ выходу. На бѣду путь къ выходу лежалъ мимо кресла И—ва, вслѣдствіе чего движенія уходящаго И. Т. Тарасова были поняты какъ угроза. Директоръ, въ свою очередь взволнованный, вскочилъ и крикнулъ громовымъ голосомъ: „Господинъ ординарный профессоръ Тарасовъ, прошу Васъ выйти вонъ". — „Нѣтъ, я самъ ушелъ", отвѣчалъ тотъ. — „Нѣтъ я Васъ выгналъ", — „Нѣтъ, я самъ ушелъ". —

Когда онъ вышелъ, послышался общій вздохъ облегченія. — „А я вѣдь не ожидалъ, что такъ благополучно кончится", произнесъ успокоеннымъ голосомъ директоръ. „Мнѣ казалось, что онъ" ... И директоръ сдѣлалъ выразительный жестъ надъ лысиной И-ва. — „Всетаки этого такъ, господа, оставить нельзя, — мы должны составить особый протоколъ о случившемся". И директоръ началъ диктовать протоколъ о томъ, „какъ профессоръ Тарасовъ закричалъ, а директоръ, возвысивъ голосъ, сказалъ" и т. д. Кончилось тѣмъ, что И. Т. Тарасовъ извинился передъ выгнавшимъ его изъ Совѣта директоромъ. По

этому поводу нѣсколькими днями позже директоръ велъ со мною благодушную бесѣду.

— А знаете ли, сказалъ онъ, вѣдь у насъ здѣсь въ Лицеѣ благодать Божія: покричали, побурлили и успокоились. То ли дѣло въ Казани: тамъ, бывало, м . . . ками ругались. — А ужъ какъ они другъ друга ненавидятъ. По моему имъ нужно отвести душу — подраться какъ слѣдуетъ. Сколько разъ я имъ предлагалъ: хотите, я вамъ для этого у себя въ саду мѣсто отведу: садъ, знаете, у меня большой, пускай они тамъ себѣ въ волосы вцѣпятся. У И—ва хоть волосъ нѣтъ, но зато борода большущая, а у Ивана Трофимовича и волосенки есть".

Кончился весь этотъ эпизодъ величайшимъ срамомъ для Лицея. Попечитель учебнаго округа — графъ Капнистъ — не только не утвердилъ нашего Совѣтскаго постановленія, но въ слѣдующую осень пріѣхалъ въ Ярославль, и на засѣданіи Совѣта разъяснилъ, что забота о полнотѣ преподаванія для насъ является главной, вслѣдствіе чего сокращеніе часовъ въ цѣляхъ экономіи безусловно недопустимо. Послѣ этого начальственнаго разъясненія директоръ и нѣкоторые изъ его единомышленниковъ стали признавать, что они „ошиблись".

По городу быстро разнеслась слава о нашихъ знаменитыхъ засѣданіяхъ. Знакомые дразнили при встрѣчѣ: „Вы, молъ, можете къ себѣ на засѣданія публику за деньги пускать." И точно. За всю мою долгую академическую дѣятельность я потомъ не видалъ засѣданій съ потрясеніемъ стульевъ въ воздухѣ и не присутствовалъ при изгнаніи профессора изъ Совѣта. Только въ томъ же Демидовскомъ Лицеѣ нѣсколькими годами позже мнѣ пришлось присутствовать при сценахъ менѣе бурныхъ, но почти столь же постыдныхъ.

Это былъ періодъ, когда въ Совѣтѣ было всего *пять* голосовъ, изъ коихъ одинъ принадлежалъ *пси-*

хически больному Л., страдавшему прогресивнымъ параличемъ. Особенность страданій этого несчастнаго заключалась въ томъ, что его на что угодно можно было подговорить: онъ слушался послѣдняго, который отъ него что-либо потребуетъ. — Но этой почвѣ въ одинъ прекрасный день приключилось слѣдующее.

Профессоръ уголовнаго права Б.-К. — человѣкъ совершенно исключительный по бездарности и къ тому же одинъ изъ глупѣйшихъ людей, какихъ мнѣ вообще приходилось встрѣчать, — потребовалъ себѣ дополнительныхъ часовъ по кафедрѣ гражданскаго права; въ частныхъ разговорахъ, онъ откровенно мотивировалъ это требованіе рожденіемъ ребенка и соотвѣтственнымъ увеличеніемъ расходовъ. — Для насъ было совершенно ясно, что поручать такому человѣку чтеніе по важнѣйшему предмету, вдобавокъ совершенно ему незнакомому, — прямо преступно . . . Ему, однако, удалось подѣйствовать на двухъ своихъ товарищей усердными просьбами. — Такъ какъ въ нашемъ лагерѣ имѣлось тоже два голоса, *рѣшать* вопросъ долженъ былъ голосъ психически больнаго. — Я считалъ его *своимъ*; поэтому, придя въ Лицей на засѣданіе Совѣта, я былъ чрезвычайно удивленъ, увидавъ, что Л. уходитъ. Я пытался его удержать, но онъ только махнулъ рукой и поспѣшно убѣжалъ домой. „Что Вы сдѣлали, какъ Вы могли упустить Л.", сказалъ я Назимову. „Да нѣтъ, отвѣчалъ тотъ, вѣдь я жъ его и услалъ: онъ обѣщалъ на засѣданіи голосовать за назначеніе часовъ по гражданскому праву этому дураку. Когда я ему объяснилъ, что онъ надѣлалъ, онъ согласился, что самое лучшее для него — вовсе не быть на засѣданіи". — Получилось равенство голосовъ за и противъ прошенія Б. Такимъ образомъ часовъ по гражданскому праву онъ къ счастью для Лицея не получилъ, но только потому, что Назимову удалось во время удалить изъ засѣданія психически больного, отъ голоса коего зависѣло рѣшеніе важнѣйшаго вопроса преподаванія.

Можно себѣ представить, какъ отзывались эти нравы и обычаи профессорской коллегіи на ея авторитетѣ. Въ маленькомъ городишкѣ, какъ Ярославль, не существуетъ тайнъ. Сказанное между четырехъ стѣнъ становится на другой день извѣстнымъ всему городу. Поэтому студенты, о ужасъ, знали все, рѣшительно все, что происходило въ Совѣтѣ и вообще въ профессорской комнатѣ. Этому способствовало то обстоятельство, что наша „профессорская" находилась въ центрѣ библіотеки. Въ сосѣднемъ отдѣленіи, отгороженномъ отъ профессорской только книжными шкафами, помѣщался большой столъ, на которомъ были разложены вновь полученные русскіе и иностранные журналы. — Къ столу для просмотра журнала допускались студенты. Естественно, что они могли слышать все то, что говорилось въ профессорской. — И они этимъ пользовались. Однажды въ день годичнаго лицейскаго праздника студенты захотѣли посчитаться съ однимъ изъ профессоровъ, который безъ милосердія рѣзалъ ихъ на экзаменѣ. Въ театрѣ во время спектакля они вызвали его въ ресторанъ. Онъ пошелъ, думая, что дѣло сведется къ обычному въ этотъ день тосту и привѣтствію. Вмѣсто того студенты начали ему припоминать все то, чѣмъ были недовольны. — „До такого то года", заявили они, „Вы были строги, но справедливы; а съ такого то времени Вы стали и строги и несправедливы". — „Изъ чего же это видно", спросилъ онъ. „А вотъ изъ чего", брякнулъ подвыпившій студентъ: „Сами же Вы въ такой то день, входя въ профессорскую, провозгласили: я, молъ, сейчасъ, двухъ хорошихъ винтеровъ срѣзалъ, — они, должно быть, недурно играютъ въ винтъ; — я это слышалъ собственными ушами." — „Въ такомъ случаѣ, извините, отвѣтилъ профессоръ, — Вы не слышали, а подслушали; вѣдь я это сказалъ въ профессорской, гдѣ Васъ не было." — Студентъ, дѣйствительно, подслушалъ этотъ разговоръ изъ сосѣдней комнаты.

Студенты прекрасно знали, что профессора ихъ — въ подавляющемъ большинствѣ ремесленники посредственные, а то и вовсе плохіе. — Поэтому они большей частью профессоровъ ни въ грошъ не ставили и необыкновенно слабо посѣщали лекціи. Иныя лекціи могли состояться лишь съ помощью инспектора, къ которому профессоръ обращался, когда находилъ аудиторію пустою. Студенты являлись, и профессоръ потомъ спрашивалъ инспектора, какъ среди нихъ могли очутиться слушатели *прошлогодніе*, уже прослушавшіе данный предметъ и даже выдержавшіе изъ него экзаменъ?

„Что же тутъ удивительнаго", отвѣчалъ инспекторъ, „я ихъ призанялъ изъ интерната, а тамъ есть всѣхъ возрастовъ. Да они къ этому привычны: *я ихъ приглашаю ко всѣмъ профессорамъ, у которыхъ не оказывается слушателей.*"

Легко представить себѣ педагогическую цѣнность такой лекціи со слушателями „по наряду". Бывали случаи, когда на экзаменѣ обнаруживалось необыкновенно низкое мнѣніе студенческой массы о томъ или другомъ профессорѣ. По правиламъ всѣ экзамены должны были происходить „въ комиссіи", состоявщей изъ всѣхъ преподавателей даннаго курса. Фактически же всѣ профессора экзаменовали одновременно у отдѣльныхъ столиковъ, и стало быть, по меньшей мѣрѣ девяносто девять сотыхъ студентовъ экзаменовались безъ комиссіи. Но студентъ, не довольный своей отмѣткой, имѣлъ право требовать, чтобы его тутъ же проэкзаменовали въ комиссіи, которая въ такомъ случаѣ его экзаменовала непремѣнно въ тотъ же день.

Мнѣ однажды пришлось участвовать въ такой комиссіи, которая собралась по жалобѣ студента на преподавателя Римскаго Права, — классически бездарнаго доцента Лицея. Къ ужасу моему экзаменъ происходилъ публично: всѣ студенты, бывшіе въ то время

въ Лицеѣ, собрались слушать. — Съ первыхъ же словъ мнѣ стало ясно, что студентъ знаетъ по меньшей мѣрѣ на четыре или на пять и что доцентъ, поставившій ему два, совершилъ явную несправедливость. Но не менѣе очевидна была для меня и исключительная дерзость тона студента, который держалъ себя вызывающе. Предсѣдательствовавшій въ нашей комиссіи директоръ велъ себя возмутительно: вмѣсто того, чтобы призвать къ порядку студента, онъ его успокаивалъ. Студента это только подбодряло къ дальнѣйшимъ выходкамъ: „Вы требуете, профессоръ, точной характеристики римскихъ юристовъ. Но какую же характеристику можно почерпнуть изъ такого курса, какъ Вашъ. Что онъ можетъ дать слушателю?“ По аудиторіи пронесся злорадный смѣхъ. — Конецъ экзамена ознаменовался безпредѣльной безтактностью со стороны директора. Вмѣсто того, чтобы удалиться въ другую комнату для сужденій объ экзаменѣ, онъ началъ тутъ же при *студентахъ* спрашивать насъ относительно балла, какимъ мы оцѣнивали знанія студента. Опросъ начался съ меня, какъ младшаго. Я былъ вынужденъ сказать, что оцѣниваю это знаніе отмѣткою *четыре*. Къ моему мнѣнію присоединились всѣ прочіе, кромѣ самого доцента, на котораго была подана жалоба. Раздался оглушительный аплодисментъ. — Доцентъ былъ блѣденъ, а директоръ — чрезвычайно доволенъ. „Знаете что, Сергѣй Михайловичъ, посадите его въ карцеръ,“ сказалъ я ему потомъ наединѣ. „Какъ, за что?“ — „Да развѣ Вы не замѣтили необычайную грубость его поведенія?“ Директоръ спохватился и испугался, сообразивъ, что онъ сдѣлалъ упущеніе, за которое ему можетъ „влетѣть отъ начальства.“ — „Знаете что“, сказалъ онъ мнѣ потомъ, „я уговорилъ студента сѣсть въ карцеръ; онъ согласился“, — „А какъ же Вы его уговорили?“ „Да очень просто, я ему объяснилъ, что по жалобѣ профессора на непристойность его поведенія ему грозитъ судъ и исключеніе. А студенты, кстати, послѣ экзамена теперь

всѣ разъѣзжаются. Шумѣть то некому. — *Вотъ онъ и согласился сѣсть въ карцеръ.*“

Студентъ оказался милостивъ къ начальству и директоръ былъ этимъ обрадованъ. — Такова была у насъ въ Лицеѣ школьная дисциплина.

Когда среди нашего студенчества встрѣчались люди съ умственными запросами и жаждою знанія, отношеніе ихъ къ *такимъ* профессорамъ могло быть только безпощадно жестокимъ. Если на самомъ дѣлѣ оно было въ общемъ добродушнымъ, это объясняется, увы, — совершенно просто: большинство студенчества относились къ наукѣ и высшему образованію еще болѣе грубо утилитарно, чѣмъ большинство профессоровъ.

Шкурники, которые ищутъ въ высшемъ учебномъ заведеніи только диплома, имѣются вездѣ въ достаточномъ количествѣ. Мнѣ приходилось ихъ встрѣчать потомъ во множествѣ въ университетахъ, гдѣ я преподавалъ. — Но нигдѣ они не находились въ такомъ подавляющемъ изобиліи, какъ въ Ярославлѣ.

Оно и понятно. Что могло привлечь молодого человѣка въ захолустный губернскій городъ, находящійся въ столь близкомъ сосѣдствѣ отъ Москвы съ ея университетомъ? Конечно не наука. — Руководствовавшіеся соображеніями научными, — шли въ московскій университетъ. Въ Демидовскій юридическій Лицей шли по соображеніямъ иного порядка. Когда я въ 1886 году началъ чтеніе лекцій, тамъ было всего восемьдесятъ студентовъ. — Тогда поступали къ намъ преимущественно мѣстные люди, для которыхъ жизнь въ столицѣ *отдѣльно отъ семьи* была не по средствамъ. Лицей хирѣлъ; самое существованіе его въ непосредственной близости отъ московскаго юридическаго факультета казалось безсмыслицей. И вдругъ, съ 1887 г. начался неожиданно большой притокъ слушателей. — Къ намъ хлынули всѣ потерпѣвшіе отъ новаго университетскаго законодательства или испугавшіеся государственнаго экзамена, который не

распространялся на Лицей. — Лицей воспользовался тѣмъ, что Министерство Народнаго Просвѣщенія о немъ забыло.

Возобновивъ лекціи осенью 1887 года, я былъ пораженъ тѣмъ, что вмѣсто *двадцати* слушателей у меня на первомъ курсѣ было цѣлыхъ полтораста, — въ огромномъ большинствѣ *евреевъ*. Это былъ результатъ министерскаго циркуляра, который ввелъ процентную норму для студентовъ — евреевъ въ университетѣ и въ то же время не упоминалъ о Лицеѣ. Когда стали поступать еврейскія прошенія, директоръ, не имѣя никакихъ распоряженій отъ начальства, сначала всѣхъ принималъ. Когда же были принято около сотни и прошенія продолжали прибывать, онъ, видя, что Лицей превращается въ еврейское учебное заведеніе, испугался, обратился съ запросомъ въ министерство и получилъ предписаніе — немедленно прекратить пріемъ. Всего еврейскихъ прошеній было подано около трехсотъ. — Одинъ еврей, который запросилъ Лицей еще лѣтомъ о возможности быть принятымъ и получилъ отвѣтъ „о неимѣніи препятствій“, пріѣхалъ на этомъ основаніи въ Ярославль изъ Восточной Сибири; когда, на основаніи новаго распоряженія министерства, ему отказали въ пріемѣ, онъ заявилъ, что будетъ искать съ Лицея путевыя издержки.

Мнѣ пришлось читать цѣлый годъ слушателямъ курчавымъ, черноглазымъ и съ кривыми носами. — — Алфавитный списокъ студентовъ перваго курса въ тотъ годъ волей-неволею вызывалъ ветхозавѣтныя воспоминанія, такъ какъ онъ пестрилъ библейскими именами: Ааронъ, Самсонъ, Соломонъ, Самуилъ, Моисей и т. п. Впрочемъ русскихъ оставался довольно порядочный процентъ — около трети курса. Въ ихъ числѣ было много перешедшихъ изъ университета, чего раньше не замѣчалось.

Это были въ большинствѣ убоявшіеся государственнаго экзамена. Когда со введеніемъ этого экзамена въ университетахъ прекратились экзамены кур-

совые, среди студентовъ началась паника. Въ послѣдствіи рядомъ министерскихъ распоряженій курсовые экзамены были возстановлены, но въ началѣ дѣйствія устава 1884 года государственный экзаменъ былъ единственнымъ въ университетѣ; и студенчество было испугано грозной перспективою — держать экзаменъ изо всѣхъ предметовъ разомъ. Въ то же время въ Лицеѣ была сохранена въ полной неприкосновенности старая система курсовыхъ испытаній, съ одной существенной по сравненію со старымъ университетскимъ уставомъ льготою. Студентъ Лицея имѣлъ право, буде онъ пожелаетъ, выдержать всѣ экзамены въ *три года* вмѣсто четырехъ. Этими приманками былъ вызванъ притокъ студентовъ, который продолжался и въ слѣдующіе годы. Въ числѣ желавшихъ воспользоваться этими льготами было особенно много такъ называемой „золотой молодежи". Молодые люди, весело проводившіе первые университетскіе годы въ Москвѣ, убѣдившись, что тамъ имъ курса не окончить, — бѣжали въ Ярославль не только отъ государственнаго экзамена, но отчасти и отъ цыганъ и отъ всѣхъ прочихъ столичныхъ развлеченій. — Въ Ярославлѣ они, разумѣется, не посѣщали лекцій, а запирались въ своихъ номерахъ для приготовленія къ экзаменамъ въ льготный срокъ по литографированнымъ запискамъ. — Въ общемъ приливъ новыхъ элементовъ не поднялъ уровень слушателей Лицея, а наоборотъ, подчеркнулъ и усилилъ узко-утилитарное отношеніе студенческой массы къ академическимъ занятіямъ. Лицей цѣнился молодежью, какъ фабрика, ускореннымъ темпомъ вырабатывавшая дипломы. — Можно ли строго осуждать за это молодежь? Вспоминая о томъ, какъ было поставлено у насъ преподаваніе, я на это не рѣшаюсь. Характерна не такая подробность, какъ чтеніе въ теченіе двухъ-трехъ лѣтъ лекцій по международному праву прогрессивнымъ паралитикомъ. Гораздо характернѣе то, что этотъ несчастный, который не могъ связать двухъ словъ въ разговорѣ, потому что связь его

мыслей ежесекундно обрывалась, *читалъ лекціи не хуже многихъ другихъ.* Мыслей связывать онъ не могъ, но на чтеніе старыхъ записокъ по просаленнымъ тетрадкамъ его хватало. Чѣмъ же онъ былъ хуже многихъ другихъ, его товарищей, продѣлывавшихъ изъ года въ годъ то же самое? Скандалъ для преподаванія заключался не въ томъ, что читалъ психически больной, а въ томъ, что онъ съ успѣхомъ могъ замѣнять здороваго. Студенчество это прекрасно знало. Во имя чего же можно было требовать отъ него посѣщенія лекцій?

Въ бытность мою въ Лицеѣ я наблюдалъ иной случай умственнаго паденія, которое привело къ тому же результату, — къ полному угасанію мысли преподавателя и ученаго. — Трагизмъ этого случая усиливался тѣмъ, что психической болѣзни тутъ не было: наоборотъ, преподаватель остался въ полномъ обладаніи своимъ недюжиннымъ острымъ умомъ. Но результатъ его преподаванія былъ практически тотъ же, какъ и въ только что описанномъ случаѣ съ паралитикомъ. Происходило это отъ того, что онъ былъ психически надломленъ.

Началось это паденіе съ бурно проведенной молодости. Потомъ несчастный искалъ въ женитьбѣ спасенія отъ угнетавшей его атмосферы нездоровой страсти. — Женитьба оказалась неудачною. Онъ изнывалъ въ неврастеніи и изводилъ жену, а она — вульгарная и неразвитая женщина — отъ времени до времени приходила въ ярость и била его сапогами по лицу. — Послѣ такой сцены онъ весь блѣдный и дрожащій приходилъ къ своему товарищу — искать крова и пріюта: „до чего дошло“, говаривалъ онъ, — „сегодня спрашиваю горничную, зачѣмъ она мнѣ приготовила ванну съ сосновымъ экстрактомъ; а она мнѣ въ отвѣтъ. — Вѣдь я же знаю, баринъ, что Вы всякій разъ, когда бываетъ у Васъ грѣхъ съ барыней, купаетесь. — Грѣхомъ она называла побои“. — „Что тутъ дѣлать съ женой, сказалъ онъ однажды, вѣдь

жить мы должны вмѣстѣ изъ за дочери; остается одно — выработать точныя условія совмѣстной жизни". И онъ показалъ мнѣ текстъ этихъ условій, — самый невѣроятный документъ, который мнѣ приходилось читать въ жизни. — Помню оттуда отдѣльные параграфы: — 1) воспитаніе дочери умственное и нравственное принадлежитъ всецѣло отцу. *Примѣчаніе.* Въ *религіозное* воспитаніе дочери отецъ не вмѣшивается, — таковое предоставляется всецѣло матери. 2) Гости мужа къ женѣ не относятся, во время ихъ пребыванія въ домѣ жена въ комнату мужа не входитъ. 3) Къ ужину должно подаваться исключительно холодное или подогрѣтое, оставшееся отъ обѣда. — Такими параграфами онъ надѣялся предотвратить поводы къ ссорамъ и дракамъ, *а она* согласилась ихъ подписать. О какой могла быть рѣчь наукѣ въ подобной духовной атмосферѣ? Неврастенія съѣла всѣ умственные дары несчастнаго. — Страсти, удручавшія его въ молодости, не исчезли, а переродились въ отталкивающую скупость и жадность къ деньгамъ. — Единственные интересы, коими онъ жилъ, были гнетущій неврастеническій страхъ за жизнь и здоровье, да изысканіе способовъ нажить деньги. Это былъ рѣдкій циникъ. — Помню, какъ онъ остроумно доказывалъ, что всѣ бѣдствія человѣка происходятъ отъ глупаго идеализма, въ особенности же, отъ этой несчастной попытки „ходить на двухъ ногахъ и организовать общество. Вѣдь ясно же, что отъ этого происходятъ всѣ наши неврастеніи, да пороки сердца. То ли дѣло на четверенькахъ. И здорово и удобно". Въ концѣ концовъ этотъ цинизмъ не ограничивался одними шутками. Въ послѣдствіи, уже послѣ моего отъѣзда изъ Ярославля, тотъ же доцентъ прославился, какъ составитель реакціонныхъ записокъ по заказу высокопоставленныхъ лицъ. Это не могло быть дѣломъ убѣжденія, потому что убѣжденій у него не было никакихъ. Это былъ его опытъ хожденія на четвереренькахъ.

У этого несчастнаго умственное вырожденіе было послѣдствіемъ паденія. — Былъ въ Лицеѣ другой типъ, которому и падать то было собственно нечего за невозможностью предположить, чтобы онъ когда либо раньше стоялъ на какой либо высотѣ. Это былъ къ сожалѣнію самъ директоръ Ш. — въ своемъ родѣ знаменитость, потому что онъ обогатилъ скандальную хронику всѣхъ тѣхъ университетскихъ городовъ, гдѣ ему приходилось бывать. Не было того увеселительнаго дома или сада, гдѣ бы студенты не встрѣчали этого почтеннаго старца, которому было въ ту пору за шестьдесятъ. Къ преподаванію и наукѣ онъ относился болѣе, чѣмъ либерально. Онъ ровно ничего не дѣлалъ самъ, завелъ въ Лицеѣ обычай читать лекцію *полчаса* вмѣсто сорока пяти минутъ; а его собственная лекція зачастую начиналась за пять минуть до звонка.

Въ числѣ моихъ товарищей въ Демидовскомъ Лицеѣ была группа людей несомнѣнно хорошихъ, какъ, напримѣръ, покойный Назимовъ, экономистъ В. Ф. Левицкій (впослѣдствіи харьковскій профессоръ), В. Г. Щегловъ и нѣкоторые другіе. Но въ общемъ нравственная атмосфера Демидовскаго Лицея была удручающая, и я заднимъ числомъ даже радъ, что не сразу ее какъ слѣдуетъ разглядѣлъ.

Мнѣ было всего двадцать два года, когда я началъ тамъ мое академическое поприще. Я съ энтузіазмомъ приступилъ къ составленію курса по древней философіи и въ первый годъ читалъ съ величайшимъ увлеченіемъ. Въ этотъ первый годъ я цѣликомъ былъ погруженъ въ преподаваніе. — Хотя мнѣ приходилось читать всего два часа времени, нужно было столько передумать, чтобы приготовиться къ этимъ двумъ часамъ, что на это уходили тогда всѣ мои силы. Это всегда бываетъ такъ, когда курсъ не носитъ характера компилятивнаго и лекторъ стремится обработать его отъ начала до конца самостоятельно. — Занятіе это меня удовлетворяло; — я былъ самъ захваченъ, поэтому мнѣ смолоду казалось, что и мои слушатели

должны быть захвачены моимъ чтеніемъ. Потомъ только я убѣдился, сколько преувеличеній въ этихъ надеждахъ молодого увлекающагося профессора на слушателей. Увы, типъ человѣка, которому буквально все равно, преобладаетъ на всѣхъ ступеняхъ ученой и учебной іерархіи. Есть и среди студентовъ и среди профессоровъ много такихъ, которыхъ рѣшительно ничѣмъ не прошибешь. Профессоръ долженъ быть счастливъ, если среди множества безъ толку его слушающихъ и шумно ему хлопающихъ найдется хоть небольшой кружокъ настоящихъ цѣнителей. Если такой кружокъ есть, то, какъ бы онъ ни былъ малъ, работа профессора этимъ оправдывается. Но и въ этомъ случаѣ онъ всегда долженъ имѣть въ виду, что центръ тяжести не въ лекціяхъ, а въ такихъ занятіяхъ, гдѣ студентъ играетъ *активную* роль. Лекціи же при этомъ приносятъ лишь весьма *относительную* пользу.

Когда мнѣ пришлось читать курсъ во второй, третій, четвертый и т. д. разъ, я убѣдился, насколько неисполнимо требованіе, чтобы курсъ всегда обновлялся. — Его можно сколько угодно совершенствовать, но вѣдь коренныя измѣненія воззрѣній у профессора не такъ часты. Мнѣ приходилось многократно излагать и освѣщать студентамъ Платона и Аристотеля; но какъ бы я ни совершенствовалъ это изложеніе, разъ философы оставались тѣ же, нужно было многое повторять изъ года въ годъ. — Словесныя измѣненія въ способѣ изложенія, разумѣется, не могутъ устранить неизбѣжности повторенія *по существу* однихъ и тѣхъ же мыслей, однихъ и тѣхъ же оцѣнокъ, разъ они удовлетворяютъ профессора. — Поэтому, разъ основныя мысли неизбѣжно входятъ въ литографированный и печатный курсъ профессора, его устное изложеніе можетъ быть въ лучшемъ случаѣ *дополненіемъ и поясненіемъ* къ тому, что студентъ можетъ прочесть въ его запискахъ. Въ общемъ чтеніе лекцій, какъ бы хорошо оно ни было, представляетъ собой неблагодарный трудъ, которымъ очень немного

достигается. — Ни переполненныя аудиторіи, ни частые и уже потому ничего не стоящіе апплодисменты не должны вводить въ заблужденіе на этотъ счетъ.

Въ общемъ, впрочемъ, я на свою аудиторію пожаловаться не могу, — и это не потому, что я пользовался въ ней успѣхомъ, а потому что въ ней, какъ мнѣ казалось, всегда имѣлся хоть небольшой контингентъ лицъ, которымъ мои лекціи и бесѣды со мной по ихъ поводу могутъ быть дѣйствительно полезны, и однако въ Лицеѣ онъ былъ значительно меньше, чѣмъ въ послѣдствіи въ университетѣ.

II. Ярославскіе храмы.

О самомъ городѣ Ярославлѣ и его обитателяхъ у меня осталось куда лучшее воспоминаніе, чѣмъ о Демидовскомъ Лицеѣ. — Прежде всего это одинъ изъ самыхъ красивыхъ русскихъ городовъ, какіе я знаю, съ дивной высокой набережной на холмѣ надъ Волгой. Лицей — нарядное бѣлое зданіе, съ тѣхъ поръ, увы, разгромленное въ 1918 году большевистской артиллеріей, былъ расположенъ въ самомъ центрѣ этихъ красотъ на стрѣлкѣ, что возвышается при сліяніи Которости съ Волгой. При этомъ Ярославль — типичный старый русскій городъ. Церквей въ немъ пропорціонально не меньше, чѣмъ въ Москвѣ. Какъ то разъ я былъ въ особенности пораженъ ихъ количествомъ, глядя на Ярославль съ противоположнаго берега Волги, — насчиталъ ихъ свыше сорока трехъ и бросилъ считать, такъ какъ въ томъ мѣстѣ далеко не всѣ церкви были видны. На городъ, въ которомъ въ то время было не болѣе шестидесяти тысячъ жителей, это, конечно, — очень большая цифра.

Но дѣло не въ количествѣ — Ярославскія церкви принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ въ Россіи. — Есть между ними знаменитыя, которыя составляютъ весьма значительную страницу въ исторіи русскаго искусства. — Я говорю не о нихъ однихъ. Красотой

отличались тамъ многія церкви, далеко не самыя старыя и совершенно неизвѣстныя за предѣлами Ярославля. — Повидимому, благородный вкусъ въ Ярославлѣ вошелъ въ преданія церковнаго строительства. —

Но самыя прекрасныя — несомнѣнно тѣ, которыя пользуются громкою всероссійскою извѣстностью, — Илья Пророкъ, Николай Мокрый, и въ особенности — Іоаннъ Предтеча, что за Которостью. — Всѣ эти церкви принадлежатъ къ XVII вѣку и олицетворяютъ собою одну и ту же эпоху русской религіозной живописи. Ото всѣхъ эпохъ болѣе раннихъ эта „Ярославская живопись“ отличается очень яркими чертами.

Она давно привлекаетъ къ себѣ вниманіе. Уже въ восьмидесятыхъ годахъ, когда я жилъ въ Ярославлѣ, она вызывала къ себѣ большое восхищеніе. Позднѣе, лѣтъ двадцать тому назадъ, когда благодаря изумительной чисткѣ иконъ были открыты безсмертные памятники иконописи *новгородской*, цѣнители иконы охладѣли къ ярославской живописи. Мнѣ часто приходилось слышать о ней чрезвычайно рѣзкіе отзывы, какъ о живописи „упадочной“, декадентской и вдобавокъ не русской. Разумѣется, сравненіе для ярославской живописи не можетъ быть выгоднымъ. Но оно едва ли умѣстно въ виду величайшей *разнородности* сравниваемыхъ величинъ. Живопись новгородская представляетъ собой искусство *глубоко религіозное*: въ этомъ — вся его сущность; наоборотъ, живопись ярославская — искусство *преимущественно декоративное*. Сравнивать эти два искусства почти также невозможно, какъ сопоставлять безсмертныя видѣнія Фра Беато и пышныя венеціанскія религіозныя декораціи какого либо Тинторетто, либо Паоло Веронезе.

Весь духъ великаго Новгорода и Ярославля совершенно различенъ. — Новгородъ стремится къ религіозному проникновенію, Ярославль — къ великолѣпію. Разумѣется съ чисто религіозной точки зрѣнія это — *живопись упадочная*; въ ней нѣтъ той высоты религіознаго переживанія, того безграничнаго благо-

говѣнія, которое чувствуется въ каждомъ штрихѣ новгородскаго иконописца XV вѣка. — Вмѣсто того въ ней — изумительная роскошь и парадъ, которыми, впрочемъ, еще можно очень наслаждаться съ точки зрѣнія чисто *эстетической*. — Есть одна фреска, которая сразу изобличаетъ контрастъ двухъ настроеній. Это — фреска „Ильи Пророка“, изображающая искушеніе Іосифа женой Пентефрія. — Даже современный взглядъ смущается невѣроятнымъ, дѣйствительно соблазнительнымъ реализмомъ. — Что бы сказали люди XV вѣка, что сказалъ бы въ томъ же XVII вѣкѣ какой-нибудь протопопъ Аввакумъ при видѣ столь явнаго нарушенія благоговѣнія къ храму?! Воспоминаются знаменитыя слова протопопа о вторженіи западныхъ реалистическихъ вліяній въ иконопись. — Такъ оно и было въ данномъ случаѣ. Въ исторіи русскаго искусства Грабаря ясно показано, что какъ разъ фреска, о которой идетъ рѣчь въ числѣ многихъ другихъ воспроизведена съ голландской иллюстрированной библіи *Поскатора*.

Въ ярославскихъ фрескахъ вообще чувствуется настроеніе богатой мірской культуры. Въ частности голландскія вліянія въ ярославской живописи — не случайность, такъ какъ именно въ XVII вѣкѣ Ярославль стоялъ на большомъ торговомъ пути между Россіей и Европой черезъ Бѣлое Море. Онъ былъ полонъ иностранными торговыми факторіями; въ особенности голландскими и англійскими. Въ Ярославскихъ храмахъ слѣды этого соприкосновенія съ Западомъ встрѣчаются на каждомъ шагу. — Глазъ, привыкшій къ старинно-русскимъ и византійскимъ архитектурнымъ линіямъ, при взглядѣ на Ярославскія фрески сразу поражается совершенно новою, необычайно остроконечной архитектурой. Вы видите узенькіе трехъ-этажные домики въ два-три окна по фасаду. — Домики эти образуютъ городки съ зубчатыми стѣнами, несомнѣнно голландско-нѣмецкаго типа.

Не менѣе убѣдительно, чѣмъ архитектура, говоритъ костюмъ. — Вы видите, напримѣръ, аллегорическую фреску — „Корабль вѣры и корабль нечестія“. На кораблѣ вѣры сидятъ святые съ широкими русскими лицами и успокоительными окладистыми бородами. На кораблѣ нечестія все — остроконечныя стриженныя бороды, — люди прическою и одеждой напоминающіе не то Шекспира, не то старинные голландскіе портреты; это — типы, знакомые Ярославлю по торговымъ сношеніямъ — голландцы либо англичане.

Еще больше поражаетъ при сравненіи съ новгородскими иконами XV и XVI вѣка общее *омірщвленіе* всей живописи. Символика въ ярославскихъ иконахъ богата, сложна и запутана. Въ ней много чрезвычайно замысловатыхъ и мудреныхъ аллегорій. — Но Вы почти всегда чувствуете, что тутъ говоритъ не религіозное чувство, а исканіе внѣшняго эффекта. Отсюда — то воспоминаніе объ оперномъ апофеозѣ, которое вызывается иногда этими фресками, напримѣръ фрескою, изображающей апокалиптическое видѣніе „Новаго Іерусалима“. Все это красиво, нарядно, но *не религіозно*

Два лучшихъ ярославскихъ храма — Илья Пророкъ и Іоаннъ Предтеча — росписаны необыкновенно ярко и пестро въ самыхъ жизнерадостныхъ тонахъ. Но это — совсѣмъ не та духовная радость, которая чувствуется въ красочныхъ произведеніяхъ новгородской живописи. Это — *просто праздникъ для глаза*, въ которомъ самый религіозный смыслъ отступаетъ на второй планъ. — Рѣдко попадается тутъ среди человѣческихъ фигуръ носительница этого смысла. — Фигурамъ принадлежитъ въ этихъ фрескахъ не столько смысловое, сколько декоративное значеніе. — Цѣль живописца — не поднять Васъ на высоту религіознаго созерцанія, а дать Вамъ блестящее зрѣлище. — При отсутствіи какого бы то ни было другого сходства между венеціанской и ярославской религіозной живописью — та и другая сближаются въ пониманіи, точнѣе,

— въ извращеніи самыхъ *задачъ* религіознаго искусства.

Въ новгородской живописи XIV, XV, и XVI вѣковъ царитъ то настроеніе, которое было создано поколѣніемъ великихъ русскихъ святыхъ — Сергія Радонежскаго, Алексія Митрополита, Кирилла Бѣлозерскаго, Макарія Желтоводскаго, Сильвестра Обнорскаго. — Святые, какъ, напримѣръ, Андрей Рублевъ имѣлись въ числѣ самихъ иконописцевъ. Наоборотъ, ярославская живопись характерна для умонастроенія той никоновской эпохи, когда люди спорили о буквѣ, потому что имъ чуждо было пониманіе духа. — Какъ бы эта живопись ни была красива, она не на высотѣ своего религіознаго сюжета, ибо этотъ сюжетъ для нея — нѣчто постороннее.

Всѣ эпохи церковнаго строительства въ Россіи были эпохами національнаго подъема. Такъ было во дни Кіевской Руси, когда русскіе города украшались храмами св. Софіи, такъ было при Іоаннѣ III въ вѣкъ созданія московскихъ соборовъ; такъ же было и во дни созданія ярославскихъ храмовъ. Ими ярославское именитое купечество ознаменовало въ XVII столѣтіи окончательное преодолѣніе смуты и упроченіе Россійской государственности съ ея неизбѣжнымъ послѣдствіемъ — ростомъ богатства. — Изъ сохранившихся счетовъ по постройкѣ храмовъ, а еще болѣе изъ самихъ храмовъ видно, что купечество не пожалѣло средствъ — возблагодарить Господа Бога за явленную къ Русской Землѣ милость. — Но религіозное чувство, выразившееся въ этомъ подъемѣ, было лишено той глубины, которая была присуща старинѣ. Только въ религіозной архитектурѣ ярославскихъ церквей сохранились еще нѣкоторые слѣды этой глубины и силы. — Но, однако и здѣсь отсутствуетъ древняя *чистота* религіознаго стиля,

Сравните, напримѣръ, дивный ярославскій храмъ Іоанна Предтечи, что за Которостью, съ московскими соборами, и Вы увидите въ чемъ дѣло. — Характер-

ная черта подлиннаго *чистаго* религіознаго стиля заключается въ отсутствіи *лишнихъ* подробностей и чисто внѣшнихъ украшеній. — Въ соборѣ Благовѣщенскомъ подъ каждой главой есть маленькій соборикъ. Въ соборѣ Успенскомъ нѣтъ главъ, подъ которыми внутри храма не было бы купола — неба. — Не то въ церкви св. Іоанна Предтечи: тамъ уже есть *фальшивыя главки*, прилѣпленныя къ крышѣ снаружи, въ видѣ *внѣшняго* украшенія: явное доказательство, что *внѣшній* эстетизмъ здѣсь успѣлъ проникнуть и въ самую религіозную архитектуру.

Въ итогѣ въ ярославскомъ религіозномъ искусствѣ уже несомнѣнно чувствуется *атмосфера мірского* плѣна, плѣнившаго церковь. — Для церковной живописи, какъ и для самой церкви это — начало вырожденія. Ярославскіе храмы — послѣднія значительныя созданія русскаго религіознаго искусства. Его дальнѣйшій путь есть путь паденія.

Какъ бы то ни было, о ярославскихъ храмахъ я сохранилъ благодарное воспоминаніе. — Въ моихъ духовныхъ переживаніяхъ конца восьмидесятыхъ и начала девяностыхъ годовъ они занимаютъ совершенно особое и при томъ значительное мѣсто. При всѣхъ ихъ недостаткахъ, которыя я разсмотрѣлъ лишь очень постепенно съ годами, — они дали мнѣ много хорошихъ минутъ душевнаго отдыха. — Чѣмъ скуднѣе и беднѣе была та духовная атмосфера, которую я наблюдалъ въ Лицеѣ, тѣмъ сильнѣе чувствовалась потребность уйти отъ этой отталкивающей современности въ ту сочную, красочную и яркую старину. — Не скажу, чтобы ярославское религіозное искусство давало богатую пищу моимъ религіознымъ переживаніямъ, но такъ или иначе оно увлекало, радовало и уносило . . . если не въ другой планъ существованія, то въ другую, очень интересную историческую эпоху.

III. Ярославское общество. Е. И. Якушкинъ.

Было кое что интересное въ Ярославлѣ и помимо старины. — Сопоставляя его съ другимъ, столь хорошо знакомымъ мнѣ съ дѣтства губернскимъ городомъ — Калугою, я пораженъ отсутствіемъ сходства того и другого. Въ Калугѣ все было полно остатками и воспоминаніями старо-дворянскаго быта. Наоборотъ, Ярославль былъ по преимуществу городомъ именитаго волжскаго купечества. Помню въ особенности одного промышленника, коего состояніе оцѣнивалось нѣсколькими десятками милліоновъ рублей. Многомилліонныхъ тузовъ въ мое время числилось тамъ довольно много. Отсюда — парадоксальный видъ ярославскихъ улицъ.

Меня всегда поражало въ Ярославлѣ съ одной стороны обиліе великолѣпныхъ, многоэтажныхъ, съ перваго взгляда, какъ будто *пустыхъ* домовъ, а съ другой стороны трудность, почти невозможность найти большую квартиру. Наемныя квартиры въ восемь комнатъ и больше были тамъ на перечетъ. А рядомъ съ этимъ цѣлые дворцы пустовали, но не сдавались въ наемъ. Владѣльцы жили по долгу въ Петербургѣ и въ Москвѣ, но сохраняли за собою свои роскошныя ярославскія квартиры, чтобы имѣть возможность пріѣзжать и принимать на праздникахъ. Мнѣ не приходилось бывать на такихъ пріемахъ; но съ улицы, въ окнахъ была видна золоченая, серебреная, вообще демонстративно богатая мебель.

Были въ Ярославлѣ въ небольшомъ количествѣ обѣднѣвшія дворянскія семьи — очень симпатичныя. Онѣ почти всѣ ютились по небольшой „Дворянской" улицѣ, оправдывавшей свое наименованіе. На Дворянской же жилъ въ моментъ моего пріѣзда въ Ярославль самый интересный и самый значительный изъ моихъ тогдашнихъ ярославскихъ знакомыхъ—Евгеній Ивановичъ Якушкинъ, къ которому я сохранилъ на всю жизнь благодарное чувство за пріятно прове-

денные у него часы и за его величайшую сердеч-
ность въ отношенiи ко мнѣ.

Это былъ человѣкъ въ самомъ дѣлѣ замѣча-
тельный. — Трудно передать тотъ авторитетъ, кото-
рымъ онъ пользовался. Это былъ оракулъ, что то в
родѣ архiерея отъ разума. Большинство его знако-
мыхъ безгранично вѣрило въ его умъ. Иные подчи-
нялись ему какъ старцу. Одна очень милая знакома
барышня доказывала мнѣ какъ то разъ, что я на-
прасно зачитываюсь философами. — Стоитъ ихъ чи-
тать такъ усердно, — говорила она, — Евгенiй Ива-
новичъ навѣрное умнѣе всѣхъ Вашихъ философовъ
вмѣстѣ взятыхъ. — Несомнѣнно, Евгенiй Ивановичъ
былъ умный и образованный человѣкъ, но самая за-
мѣчательная черта въ немъ была его *нравственная
сила,* большая цѣльность характера. — Это былъ че-
ловѣкъ, у котораго слово никогда не расходилось с
дѣломъ. И именно этимъ онъ импонировалъ.

Сынъ извѣстнаго декабриста, народолюбецъ, онъ
былъ одинъ изъ первыхъ помѣщиковъ, освободив-
шихъ задолго до 19 февраля своихъ крестьянъ *с
землею.* Въ немъ было то исключительное безкоры-
стiе, котрое внушало уваженiе рѣшительно всѣмъ
даже людямъ совершенно противоположнаго ему ла-
геря. По своимъ либеральнымъ, и даже въ нѣкото-
рыхъ отношенiяхъ *радикальнымъ* убѣжденiямъ онъ
не могъ служить, а тѣмъ не менѣе всѣ власти къ нему
ѣздили. У него можно было встрѣтить и губернатора
и генерала, и предсѣдателя суда, и предводителя дво-
рянства, не говоря уже о земцахъ. Всѣ эти господа
не только у него бывали, но считались съ его пря-
мыми сужденiями, побаивались его, какъ ярославско
„княгини Марьи Алексѣвны“. Онъ всегда говорилъ
имъ правду въ лицо; и благодаря его нравственному
авторитету эта правда во многихъ случаяхъ дѣйство-
вала. Оно и не мудрено; расцѣнка, которую Евгенiй
Ивановичъ давалъ человѣку или поступкамъ, потомъ
такъ за нимъ и оставалась. — А сказанное имъ нев

значай острое словцо потомъ иногда повторялось годами.

Помню какъ то разъ одинъ изъ профессоровъ Демидовскаго Лицея — человѣкъ съ даромъ слова, но съ весьма легкимъ умственнымъ багажемъ, какъ то подвыпивъ сталъ разсказывать, что у него была шляпа-цилиндръ съ вентиляторомъ. Евгеній Ивановичъ, тоже слегка выпившій подошелъ вплотную къ профессору и уставился въ него глазами: „позвольте разсмотрѣть, *вентиляторъ-то — не сквозной ли*“? Такъ потомъ того и ославили *человѣкомъ съ вентиляторомъ въ головѣ*, что было совершенно вѣрно.

Занимался Евгеній Ивановичъ почти исключительно ученымъ трудомъ — составленіемъ своего многотомнаго сборника Русскаго Обычнаго Права. Это было собственно не ученое изслѣдованіе, а собираніе сырого матеріала, правда, очень интереснаго и цѣннаго. — — Отличался онъ большою начитанностью. — Въ его скромномъ бюджетѣ покупка книгъ на всѣхъ языкахъ составляла единственную большую статью расхода. Помню его кабинетъ съ полками, уставленными книгами до верха — до потолка. Указывая на тонкія деревянныя стѣны своего дома, онъ утверждалъ, что книги его грѣютъ.

Онѣ и въ самомъ дѣлѣ его грѣли — физически, Но теплота душевная, благодаря которой и другимъ становилось тепло у его домашняго очага, исходила отъ него самаго.

Странное дѣло, — въ умственномъ отношеніи мы были совершенно чужды. Онъ былъ сторонникъ того типичнаго позитивизма Милле-Контовскаго толка, съ которымъ я окончательно свелъ счеты уже въ гимназіи. Ничего новаго въ области философіи я отъ него услышать не могъ; наоборотъ, все то, что онъ говорилъ о вопросахъ міросозерцанія, было мною давнымъ давно покончено. И, однако, меня влекло къ этому человѣку. Когда, бывало, долго не видишь добраго взгляда его умныхъ глазъ изъ подъ очковъ, всегда,

бывало, стоскуешься и пойдешь посидѣть часокъ-другой у Евгенія Ивановича, Онъ, я чувствую, — тоже меня любилъ и даже прямо это высказывалъ, а онъ былъ не изъ тѣхъ, у кого слово расходится съ мыслью или чувствомъ.

Въ умственномъ отношеніи мы были антиподы. Мое христіанство волновало и порою раздражало его, какъ непонятная для него загадка. Онъ заводилъ на эту тему разговоры съ цѣлью разъяснить эго загадку: „это можетъ быть и для меня полезно", говаривалъ онъ. Но эти разговоры не шли дальше поверхности, онъ отрицалъ чудеса, исторически и вообще „научно" опровергалъ Библію и т. п. Споры на эту тему чаще всего вызывали безплодное раздраженіе; если ему случалось увлечься полемическимъ задоромъ и кощунствовать, онъ потомъ извинялся. Но дать ему понять — *въ чемъ для меня суть* — было для меня невозможно, и я за это часто и горько себя упрекалъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ я былъ внутренно глубоко увѣренъ, что этотъ атеистъ будетъ однимъ изъ первыхъ въ Царствѣ Божіемъ. Оттого меня и влекло къ нему.

Я часто спрашивалъ себя: *во имя чего* Евгеній Ивановичъ обнаружилъ въ жизни столько *дѣятельной* доброты? Ради чего, напримѣръ онъ, очень небогатый человѣкъ, вдругъ обрѣзалъ себя во всѣхъ своихъ нуждахъ и выкроилъ изъ своей земли большой земельный надѣлъ освобожденнымъ имъ крестьянамъ? Однихъ „демократическихъ убѣжденій" для этого по меньшей мѣрѣ недостаточно. — Такъ поступаетъ не „демократъ вообще", а человѣкъ, у котораго есть *святыня въ душѣ*.

Алтарь невѣдомому Богу, вотъ что чувствовалось въ этой душѣ; это и было то, что такъ неотразимо привлекало къ Евгенію Ивановичу; оттого то онъ былъ и для другихъ источникомъ живительной теплоты. — Я часто спрашивалъ себя, во что онъ вѣритъ? И я видѣлъ, что, вопреки его уму, сердце его не только *вѣритъ въ добро*, оно всѣмъ на свѣтѣ по-

жертвуетъ ради того, во что оно вѣритъ. — Часто, о немъ думая, я вспоминалъ евангельскую притчу о двухъ сынахъ. Онъ былъ какъ разъ типомъ того сына, который сказалъ отцу *„не пойду“* и пошелъ. — Хожденія путями Христовыми въ его жизни было несомнѣнно больше, чѣмъ въ жизни большей части людей, исповѣдующихъ христіанство. Онъ былъ не холоденъ, не тепелъ, а горячъ сердцемъ. Въ этомъ было главное его достоинство!

Я встрѣчалъ въ Ярославлѣ людей неглупыхъ и образованныхъ, которые поражались несоотвѣтствіемъ между умственною силою Евгенія Ивановича и его вліяніемъ. — Это объясняется все той же причиной. Евгеній Ивановичъ былъ человѣкъ не глупый и способный, но я не могу назвать его человѣкомъ *выдающагося* ума или таланта. Сила его была, какъ сказано, вовсе не въ умственныхъ качествахъ, а въ чемъ-то другомъ, большемъ и высшемъ, чѣмъ умъ. Онъ, мыслью отрицавшій духовное начало, всѣмъ своимъ существомъ доказывалъ его значеніе и силу. Среди моихъ ярославскихъ знакомыхъ онъ былъ едва ли не самымъ *духовнымъ человѣкомъ.* Этотъ контрастъ между міровоззрѣніемъ и обликомъ былъ несомнѣнно самою парадоксальною чертою его существа.

Характеристика Евгенія Ивановича была бы не полна, если бы я не вспомнилъ о двухъ праздникахъ, которые у него были. Это были „Татьянинъ день“ — 12 Января и 19 е Февраля, — праздникъ просвѣщенія и праздникъ освобожденія. Эти дни помимо своего общаго значенія считались въ Ярославлѣ спеціальными праздниками Евгенія Ивановича. Какъ то всѣми было признано, что онъ имѣетъ на нихъ какое-то особое, преимущественное право: въ названныя даты его приходили поздравлять какъ именинника. А онъ и въ самомъ дѣлѣ чувствовалъ себя именинникомъ и въ эти два исключительные дня въ году, бывало, любилъ кутнуть съ друзьями, всегда скромно, но очень весело. — Мнѣ приходилось иногда ужинать съ нимъ

въ его праздники: онъ какъ то всегда былъ въ ударѣ въ этихъ случаяхъ, и его праздничное настроеніе невольно сообщалось другимъ. — Среди сѣрой провинціальной жизни этотъ обычай Е. И. Якушкина имѣлъ несомнѣнно и педагогическое значеніе: благодаря ему приличія ради благоговѣли передъ великими историческими днями даже такіе люди, которые иначе о нихъ бы и не вспомнили. — „Хмурымъ людямъ" нужно напоминать, что въ жизни есть нѣчто, передъ чѣмъ слѣдуетъ благоговѣть: иначе они совсѣмъ опустятся. Нужно, чтобы отъ времени до времени во что бы то ни стало нарушалось однообразіе ихъ будней, посвященныхъ пересудамъ, профессіональнымъ сплетнямъ и въ особенности — *винту*.

Въ Ярославлѣ, какъ и во всей тогдашней русской провинціи неизбѣжность винта, преферанса и вообще карточнаго столика производила гнетущее впечатлѣніе. — Всѣмъ хочется отдохнуть отъ дневныхъ трудовъ, всякій ищетъ вечеромъ общества себѣ подобныхъ: но это общество при встрѣчѣ подавляетъ отсутствіемъ интересовъ, а потому и отсутствіемъ разговоровъ. — Разговоръ людей, коимъ говорить не о чемъ, можетъ направляться лишь въ сторону злословія. При этихъ условіяхъ карты — изъ двухъ золъ меньшее. — Это — остроумный способъ — убить время и дать людямъ возможность забыть о пустотѣ ихъ существованія. — Безъ картъ они просто заболѣли бы отъ тоски и скуки.

Когда началась моя самостоятельная жизнь въ Ярославлѣ, я не игралъ ни въ какую карточную игру. И вотъ, приходя вечеромъ въ тотъ или другой знакомый домъ, я чувствовалъ, что внушаю безпокойство хозяевамъ: ихъ смущалъ видъ человѣка, ни къ чему не пристроеннаго. — „Вы играете въ винтъ"? — спрашивали меня. Я отнѣкивался, переходилъ отъ столика къ столику и, чувствуя себя лишнимъ, въ концѣ концовъ уходилъ. — „Вамъ бы слѣдовало научиться въ винтъ или въ преферансъ", — участливо говорилъ

мнѣ Евгеній Ивановичъ. И въ концѣ концовъ я выучился только для того, чтобы не быть вынужденнымъ уходить домой въ тѣ вечера, когда я испытывалъ потребность хоть немного отдохнуть отъ моихъ ученыхъ занятій.

Потребность эта, впрочемъ, не была ни частой, ни жгучей. — А для занятій у меня была въ Ярославлѣ исключительно благопріятная обстановка, потому что, при отсутствіи развлеченій, присущемъ провинціальной жизни вообще, я могъ пользоваться здѣсь богатыми рессурсами библіотеки Демидовскаго Лицея, для которой я могъ выписывать всѣ нужныя мнѣ книги безо всякаго ограниченія.

Чтобы покончить съ Ярославской моей жиззнью остается сообщить нѣкоторыя черты тогдашней бытовой обстановки. Я жилъ тогда на мое приватдоцентское жалованіе — тысячу рублей въ годъ и могъ себѣ доставить за эту скромную сумму удобства, которыя теперь послѣ революціи доступны лишь очень богатымъ людямъ. У меня была квартира въ четыре большихъ комнаты (не считая кухни), за которую я платилъ 15 рублей; — топить ее было нетрудно при цѣнѣ три съ полтиной — четыре рубля за сажень березоваго швырка. Я могъ ѣсть кромѣ супа и пирожковъ вволю ежедневно два мясныхъ блюда, а въ лѣтніе мѣсяцы, живя въ деревнѣ у родителей, я накапливалъ еще нужную сумму для того, чтобы сшить себѣ платье. — Когда уменя, поселился въ квартирѣ сожитель — двоюродный братъ, участвовавшій въ расходахъ, я могъ жить совершенно безбѣдно, получая отъ родителей лишь небольшой ремонтъ бѣлья.

V. Москва въ концѣ восьмидесятыхъ и въ началѣ девяностыхъ годовъ. Лопатинскій кружокъ.

Скудость умственныхъ рессурсовъ въ Ярославлѣ не особенно сильно чувствовалась между прочимъ благодаря близости Москвы, куда можно было

поѣхать въ единственномъ въ то время почтовомъ поѣздѣ въ одну ночь. — Въ 1887 году въ Москву переселились мои родители. Такъ какъ я читалъ въ Ярославлѣ лекціи только два часа по понедѣльникамъ, я при желаніи могъ пріѣзжать въ Москву на цѣлыхъ шесть дней, не нарушая росписанія моихъ чтеній. Въ экстренныхъ случаяхъ, когда было нужно, я зачитывалъ въ одну недѣлю за двѣ и выкраивалъ себѣ такимъ образомъ двухнедѣльный отпускъ. Это было для меня очень важно, потому что какъ разъ въ началѣ моей академической карьеры я пріобрѣлъ въ Москвѣ два новыхъ, въ высшей степени цѣнныхъ для меня знакомства. Едва окончивъ курсъ университета, я познакомился съ молодымъ, тогда только что дебютировавшимъ Московскимъ философомъ — Львомъ Михайловичемъ Лопатинымъ. У него же я черезъ годъ познакомился съ Владимиромъ Сергѣевичемъ Соловьевымъ.

Въ Москвѣ въ то время не было дома, который бы столь ярко олицетворялъ духовную атмосферу московскаго культурнаго общества, какъ домъ Лопатиныхъ. Старикъ Лопатинъ — Михаилъ Николаевичъ — отецъ философа устраивалъ съ осени до весны по средамъ еженедѣльные вечера съ ужиномъ, гдѣ собирались и засиживались до двухъ-трехъ часовъ утра наиболѣе интересные изъ представителей умственной жизни Москвы. Это было общество весьма разнообразное. Самъ Михаилъ Николаевичъ, — видный судебный дѣятель эпохи великихъ реформъ — товарищъ предсѣдателя Судебной Палаты, собиралъ въ своемъ домѣ прежде всего товарищей по службѣ. Все, что было выдающагося въ московскомъ судебномъ мірѣ, бывало по средамъ у него. У него же можно было встрѣтить выдающихся профессоровъ Московскаго университета — В. И. Герье, Василія Осиповича Ключевскаго, М. С. Корелина, литераторовъ, въ особенности изъ Русской Мысли, — В. А. Гольцева и старика Юрьева. — Благодаря Льву Михайловичу по тѣмъ же средамъ собирались всѣ мос-

ковскіе философы различныхъ метафизическихъ направленій: В. С. Соловьевъ, Н. Я. Гротъ по переселеніи послѣдняго въ Москву, Н. А. Иванцовъ, мой братъ Сергѣй. — Изъ звѣздъ педагогическаго міра бывалъ извѣстный Л. И. Поливановъ, въ гимназіи коего всѣ Лопатины кончили курсъ, а Левъ Михайловичъ, будучи уже профессоромъ, преподавалъ исторію. — Кромѣ того, благодаря незауряднымъ драматическимъ талантамъ Льва и въ особенности Владимира Михайловича Лопатина, по средамъ у Лопатиныхъ можно было иногда встрѣтить и представителей московскаго драматическаго міра.

Въ теченіи всей моей жизни я не помню въ Москвѣ кружка, столь богатаго умственными силами. А при этомъ благодаря удивительной простотѣ, радушію и истинно московскому хлѣбосольству хозяевъ, домъ Лопатиныхъ былъ однимъ изъ самыхъ пріятныхъ въ Москвѣ. Центромъ „умныхъ разговоровъ“ былъ крошечный облицованный бѣлымъ мраморомъ кабинетъ empire Михаила Николаевича, всегда переполненный до послѣднихъ предѣловъ вмѣстимости и покрытый густыми облаками табачнаго дыма. Тамъ иногда, при общемъ хохотѣ, Соловьевъ декламировалъ какое-нибудь свое юмористическое стихотвореніе, ораторствовалъ Ключевскій, или Поливановъ смаковалъ послѣднюю новинку, только что вышедшую изъ подъ пера Льва Толстого; помню какъ онъ яростно защищалъ противъ меня „Власть Тьмы“ послѣдняго, не признавая въ ней даже мелкихъ недостатковъ. Когда въ кабинетѣ раздавался хохотъ, крикливыя верхнія ноты и взвизгиванія Соловьева покрывали всѣ голоса. А иногда въ отсутствіи Соловьева читалась только что присланная изъ Петербурга рукопись какой нибудь его новой статьи для журнала „Вопросы философіи и психологіи“. — Помню, напримѣръ, какъ однажды читалось такимъ образомъ открытое письмо Соловьева Николаю Яковлевичу Гроту, причемъ читалъ самъ Николай Яковлевичъ.

Иногда, когда собраніе было особенно многолюдно, оно дѣлилось на двѣ, а то и на три части. Дамы и барышни, подруги Екатерины Михайловны Лопатиной, собирались въ гостинной съ сѣрыми мраморными колоннами, гдѣ предсѣдателствовала старушка Екатерина Львовна Лопатина. Тамъ было, конечно, не такъ интересно, какъ въ кабинетѣ, а потому далеко не такъ полно. Наконецъ, философы иногда устраивали еще третье отдѣльное засѣданіе наверху въ мезонинѣ въ крошечной комнатѣ Льва Михаиловича, гдѣ я свободно могъ коснуться пальцемъ потолка. Это случалось рѣдко, когда нужно было устроить какое нибудь философское a parte. Такъ, напримѣръ, въ этой комнаткѣ мы уединились втроемъ съ Соловьевымъ и Лопатинымъ при первомъ моемъ знакомствѣ съ Соловьевымъ, когда нужно было выговориться до дна по основнымъ философскимъ и религіознымъ вопросамъ. Потомъ, по окончаніи всѣхъ a parte, все общество соединялось за ужиномъ въ столовой, гдѣ за стаканомъ краснаго вина разговоръ затягивался до утра. — Эта послѣдняя часть вечера бывала обыкновенно менѣе серьезна. Ужинъ становился особенно оживленъ и веселъ, когда бывалъ въ ударѣ В. О. Ключевскій или Соловьевъ. Иногда же вечеръ кончался страшными разсказами Льва Михайловича Лопатина, на которые онъ былъ великій мастеръ.

Интересы Лопатинскаго кружка были такъ же разнообразны, какъ и его участники. Кружокъ въ общемъ не былъ политическимъ. Но онъ очень чутко отзывался на всѣ политическіе вопросы дня. При этомъ общее настроеніе было умѣренно либеральное. Помню, какъ политическіе разговоры тамъ вдругъ оживились въ 1891 году во время голода, который вызвалъ страшное недовольство правительствомъ и далъ сильный толчокъ конституціоннымъ мечтаніямъ. — Такое же политическое оживленіе чувствовалось и въ первые мѣсяцы царствованія Николая II — до знаменитой январской рѣчи царя о „безсмысленныхъ мечтаніяхъ“.

Живо помню общее подавленное настроеніе въ среду у Лопатиныхъ непосредственно *послѣ* этой рѣчи. Это была, увы, послѣдняя среда, на которой мнѣ довелось присутствовать. Послѣ этого среды прекратились вслѣдствіе долгой и тяжкой болѣзни старшаго сына Михаила Николаевича — Николая Михайловича — и больше не возобновлялись.

Одной изъ самыхъ яркихъ фигуръ кружка былъ мой другъ Левъ Михайловичъ, въ моментъ моего знакомства съ нимъ совсѣмъ молодой, тридцати-двухълѣтній философъ, человѣкъ совершенно единственный въ своемъ родѣ, — чудакъ и оригиналъ, какихъ свѣтъ не производилъ. — Въ особенности поражало въ немъ сочетаніе тонкаго, яснаго ума и почти дѣтской безпомощности. Упомянутая уже выше крошечная комната Льва Михаиловича въ мезонинѣ Лопатинскаго дома носила названіе „дѣтской“ (что, впрочемъ, онъ всегда упорно отрицалъ), потому что онъ жилъ въ ней съ дѣтства. Изъ этой „дѣтской“ Левъ Михаиловичъ не переѣзжалъ никогда и никуда. Умерли отецъ и мать, сестра Льва Михайловича продала самый домъ, гдѣ онъ жилъ. А онъ все таки не переѣхалъ и выхлопоталъ у новыхъ хозяевъ — общины сестеръ милосердія — разрѣшеніе оставаться въ „дѣтской“, не представляя себѣ, какъ и куда можно изъ нея переѣхать. И разрѣшеніе было дано. Когда я уѣхалъ, въ Москвѣ заканчивался уже годъ владычества большевиковъ, но Левъ Михайловичъ продолжалъ упорно оставаться какъ покинутый птенецъ въ родномъ гнѣздѣ; увы, гнѣздо давно уже утратило свою теплоту.

Его и въ самомъ дѣлѣ нельзя себѣ представить отдѣльно отъ этого гнѣзда, которое органически съ нимъ срослось. — Гагаринскій переулокъ, гдѣ живетъ философъ, — одинъ изъ тѣхъ очаровательныхъ уголковъ старой Москвы, которые долѣе всего противились разрушающему и обезличивающему дѣйствію времени. Къ сожалѣнію, и въ этой богоспасаемой московской глуши стали рости огромные, безвкусные не-

боскребы. И вдругъ среди нихъ — живое напоминанiе о первой половинѣ прошлаго столѣтiя, — маленькiй, уютный барскiй особнякъ съ изящными колоннами empire, съ мраморной облицовкой внутри и съ благородными бронзовыми украшенiями empire на каминѣ.

Трудно себѣ представить болѣе яркое, чѣмъ этотъ домъ, олицетворенiе духовнаго склада самого Льва Михайловича. Онъ — такъ же, какъ и эта изящная постройка, представляетъ собой явленiе другого столѣтiя среди безвкусной современности.

Картина современной философiи во многомъ напоминаетъ безотрадный видъ современнаго большого города. Тутъ рушится индивидуальность домовъ, а тамъ — индивидуальность философскихъ системъ. Господствующiя философскiя направленiя чрезвычайно похожи на огромные небоскребы съ великимъ множествомъ квартиръ и обитателей. Вотъ, напримѣръ, „неокантiанство“, — многоэтажное, казенное зданiе, гдѣ помѣщается неисчислимое количество почтенныхъ, скучныхъ и ненавидящихъ другъ друга нѣмцевъ. — Вотъ съ другой стороны. эмпирiокритицизмъ, — тоже казарменнообразное зданiе, гдѣ живутъ подъ однимъ кровомъ, но въ разныхъ квартирахъ, Авенарiусъ, Махъ, Оствальдъ и многiе другiе, тоже не особенно другъ друга долюбливающiе сожители. Было не мало попытокъ завести эти нѣмецкiя казармы въ Москвѣ. — И вдругъ среди всѣхъ этихъ авенарiанцевъ, когенiанцевъ, риккертiанцевъ—своеобразный философскiй стиль барскаго особняка, мiросозерцанiе, упорно отстаивающее свою индивидуальность и всѣми своими корнями принадлежащее къ другому, давно минувшему столѣтiю.

Многое можно возразить противъ философскихъ сочиненiй Л. М. Лопатина, но есть у нихъ одно свойство, которое невольно заставляетъ отдыхать читателя. Ни къ какому современному небоскребу нельзя причислить эту своеобразную и изящную архитектуру. Въ ней чувствуется *упругость индивидуальности*, которая не даетъ себя поглотить и упорно отстаиваетъ

себя, совершенно не считаясь ни съ духомъ, ни даже съ запросами времени.

Читая книги Л. М. Лопатина, поражаешься тѣмъ, до какой степени всѣми положительными своими мыслями онъ стоитъ внѣ своего времени.

Правда, онъ, другъ и сверстникъ Владиміра Соловьева, принадлежитъ къ поколѣнію русскихъ философовъ — метафизиковъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ. Но и съ этимъ поколѣніемъ его сближаетъ только общее отрицаніе, а отнюдь не общее утвержденіе. Вмѣстѣ съ Соловьевымъ преодолѣлъ онъ матеріализмъ и англо-французскій позитивизмъ. Относящіяся сюда страницы его первой диссертаціи „Положительныя задачи философіи“, несомнѣнно, принадлежатъ къ числу лучшихъ имъ написанныхъ. — Но въ дальнѣйшемъ онъ не пошелъ ни за Соловьевымъ, ни за кѣмъ либо другимъ и остался совершенно самъ по себѣ. — Съ церковной мистикой у него никогда не было и нѣтъ ничего общаго. Противъ Соловьева, который реабилитировалъ матерію и въ связи съ ученіемъ о всеобщемъ воскресеніи высоко ставилъ „духовный матеріализмъ“, — онъ отстаивалъ спиритуализмъ въ чистомъ видѣ.

Не оказала вліянія на Л. М. Лопатина и родовая типическая черта, общая большинству современныхъ метафизическихъ ученій. Онъ остался совершенно внѣ всякаго вліянія философской мысли Канта. Въ наше время это — едва ли не единственный философъ-раціоналистъ, который рѣшительно и безъ остатка отбросилъ цѣликомъ все кантовское. Въ XIX и XX столѣтіи онъ сохранилъ почти въ полной неприкосновенности философскій стиль эпохи Лейбница. Раціоналистическія доказательства бытія Божія и безсмертія души, философскій плюрализмъ динамическихъ субстацій и „спиритуализмъ“, — все это черты, живо переносящія въ духовную атмосферу нѣмецкой докантовской философіи. — Это оригинальная русская попытка воскресить монодалогію. Не могу сказать, чтобы она откры-

вала новые горизонты и пробивала новые пути. Но она была стильна, изящна; а, главное, — въ ней чувствовалась своеобразная прелесть того небольшого, но уютнаго домика въ Гагаринскомъ переулкѣ. Левъ Михайловичъ Лопатинъ вообще — исключительно *уютный* философъ.

Есть своеобразная дерзость въ этомъ отрицаніи современности, изъ за нея Льву Михайловичу, конечно, приходилось платиться. Съ тѣхъ поръ, какъ я его помню, его упрекаютъ „въ философской отсталости", въ особенности за его отношеніе къ Канту. Не могу сказать, чтобы этотъ упрекъ былъ вполнѣ лишенъ основанія. — Сколько бы ни было отрицательнаго и темнаго во вліяніи Канта и его школы, нельзя просто проходить мимо кантіанства и замѣнять Канта историческаго Кантомъ, выдуманнымъ Шопенгауеромъ, какъ это дѣлалъ Левъ Михайловичъ.

Но, какъ бываетъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, обѣ стороны были и правы и неправы во взаимномъ отрицаніи. Лопатинъ былъ неправъ въ томъ, что проглядѣлъ огромную важность проблемъ, поставленныхъ частью Кантомъ, частью новѣйшимъ кантіанствомъ. (Объ этихъ проблемахъ подробно говоритъ моя книга: „Метафизическія предположенія познанія".) — Однако въ его возмущеніи узостью современнаго кантіанства было много справедливаго. — И *та вѣра* въ духъ, которую Лопатинъ вслѣдъ за Лейбницемъ противополагалъ этимъ современнымъ отрицателямъ метафизики, философски болѣе значительна, чѣмъ хитросплетенія и тонкости современной кантіанской схоластики. Тутъ уже не онъ, а *они проглядѣли.*

Тутъ было полное взаимное непониманіе и взаимная несправедливость. Проникнувшись отвращеніемъ къ современной философіи, онъ потерялъ къ ней всякій интересъ и слишкомъ рано пересталъ за ней слѣдить: все въ ней казалось ему „темнымъ", „не яснымъ, не понятнымъ". Этими выраженіями клеймилъ онъ почти все ему современное. А современность, не находя въ немъ ничего своего, равнодушно пожимала

плечами и проходила мимо. Съ его стороны въ отношеніи къ современности было много благодушной русской лѣни. Онъ не дѣлалъ усилій, чтобы принудить себя понять все, что въ какомъ-нибудь Когенѣ или Риккертѣ было труднымъ и скучнымъ, потому что былъ заранѣе убѣжденъ, что трудъ не окупится. Но съ другой стороны, Лопатину платили сторицею и равнодушіемъ и, въ особенности, — непониманіемъ.

А вѣдь есть же нѣкоторая непонятая современниками жизнь въ философской монадологіи Лопатинскаго спиритуализма. *Чувство индивидуальности духа,* стремленіе во что бы то ни стало отстоять ее, — вотъ *пафосъ* этой монадологіи. Чтобы со мной на свѣтѣ не случилось, хотя бы моя тѣлесная жизнь была унесена потокомъ времени, хотя бы время унесло и всѣ мои мысли и чувства, — все таки *моя неистребимая индивидуальность есть,* — она существуетъ вѣчно. — Таково коренное, жизненное убѣжденіе Лопатина, какъ философа. — Можно находить сколько угодно ошибокъ въ способѣ обоснованія этого его философскаго credo; въ моей полемикѣ по вопросу о „динамическихъ субстанціяхъ“ по поводу моего сочиненія о Соловьевѣ я на нихъ указывалъ. — Но, несмотря на эти ошибки, нельзя не сказать, что самая попытка Лопатина *утвердить индивидуальность въ мірѣ духовномъ* интересна и своеобразна. Слабѣйшее тутъ, разумѣется, — старыя, докритическія доказателства раціоналистической психологіи. Они сыграли нѣкоторымъ образомъ роль „дѣтской“, изъ которой философу не хотѣлось выѣхать, потому что она была ему привычна, удобна и уютна. Важна тутъ поставленная Лопатинымъ *проблема индивидуальности духа,* хотя способы ея разрѣшенія и были неудовлетворительны. Убѣжденіе Лопатина, горячее и непоколебимое, въ неистребимой индивидуальности человѣческаго духа много важнѣе и интереснѣе, чѣмъ способы его обоснованія.

Это убѣжденіе Лопатина, неотдѣлимое и характерное свойство его облика, есть именно то, что со-

общаетъ этой личности ея значеніе и ея своеобразное очарованіе. Есть много любителей и, въ особенности, любительницъ „страшныхъ разсказовъ“ Льва Михайловича, которые относятся къ этимъ разсказамъ, какъ къ чему то только забавному, хотя и талантливому. — Такое отношеніе къ нимъ глубоко несправедливо. — Прелесть этихъ разсказовъ и въ особенности — ихъ несравненная яркость обусловливается какъ разъ ихъ связью съ его пафосомъ, съ его кореннымъ убѣжденіемъ. Смерть не уноситъ индивидуальности: личность живетъ за гробомъ, а *при случаѣ пошаливаетъ*, если она не нашла себѣ упокоенія. — Вотъ основная тема лопатинскихъ разсказовъ. И, если нѣкоторые изъ нихъ облечены въ игривую, юмористическую форму, это не исключаетъ ихъ серьозной сущности. Вѣдь духи бываютъ всякіе; есть между ними и штукари, но и тѣ — *индивидуальны*.

Всѣ слышавшіе эти разсказы помнятъ, конечно, что ихъ художественное достоинство и сила ихъ дѣйствія обусловливается тѣмъ неотразимымъ убѣжденіемъ въ ихъ *реальности*, которое сообщается отъ разсказчика слушателю. Левъ Михайловичъ не только вѣрилъ, — онъ слушателей заставлялъ вѣрить въ свой разсказъ и именно этимъ наводилъ на нихъ таинственную жуть. Пусть даже слушатели потомъ находили слышанное „забавнымъ“, — въ самый моментъ разсказа они волновались именно потому, что были захвачены реальностью происшествія. — Это ощущеніе реальности достигается художественной простотой пріемовъ разсказа. Вотъ, напримѣръ, передъ Вами проходитъ страшная кошка, которая „упорно зло на Васъ смотритъ и *ничего не говоритъ*“; аудиторія уже волнуется этимъ зловѣщимъ молчаніемъ, — ей хочется вмѣстѣ съ дѣйствующими лицами погладить, умилостивить страшную кошку. „Кисанька, К-и-и-сынька“, тянетъ разсказчикъ и вдругъ не своимъ, совсѣмъ не здѣшнимъ голосомъ отвѣчаетъ за кошку: „*к-ы-ы-сс-сынька, к-ы-ы-сс-ы-нька*“. Или вотъ, напримѣръ, разсказъ о явле-

нiи духа дѣвушки въ старомъ деревенскомъ домѣ. Каждый день въ двѣнадцать часовъ ночи она являлась и жалобно манила рукой въ садъ, наводя ужасъ. Продолжалось это до тѣхъ поръ, пока одинъ смѣльчакъ не рѣшился послѣдовать за видѣнiемъ въ садъ; дѣвушка указала ему подножiе большой сосны и скрылась. „Потомъ-то оказалось очень просто“, заканчивалъ Левъ Михайловичъ, — „подъ деревомъ скелетъ нашли, отпѣли, похоронили, и всѣ видѣнiя кончились“. Вся суть разсказа заключается въ томъ, что для него „все это очень просто“. Онъ умѣетъ сообщать слушателямъ *живую интуицiю духа*; происходитъ это, конечно, оттого, что интуицiя въ немъ живетъ.

Разумѣется, въ этихъ разсказахъ непередаваемо самое главное, что составляетъ ихъ очарованiе: это — эманацiя личности самого разсказчика. „Интуицiя духа“ вызывалась въ слушателяхъ самой его наружностью, въ особенности, его огромными свѣтлыми глазами въ маленькомъ тщедушномъ тѣлѣ, съ тоненькими, слабыми руками, въ которыхъ чувствовалась какая то циплячья безпомощность. Глаза эти, ярко свѣтящiеся сквозь неизмѣнно окружающее философа густое облако табачнаго дыма, обладаютъ силой какого то добраго и ласковаго гипноза.

Источникъ силы Льва Михайловича есть вмѣстѣ съ тѣмъ и источникъ его слабости. Самоутверждающаяся индивидуальность человѣческаго духа у него превращалась въ *абсолютную душевную субстанцiю*. — Индивидуальность въ его пониманiи становилась какой-то въ себѣ замкнутой, самодовлѣющей монадой. Съ этимъ связывались свойственныя ему преувеличенiя въ самочувствiи, преувеличенный индивидуализмъ стараго холостяка. — Помнится, его какъ то разъ спросили, отчего онъ не женится. — „Да какъ же я женюсь“, отвѣчалъ онъ, — „вдругъ у меня ребенокъ заболѣетъ, — что же я тогда буду дѣлать“. — Онъ не представлялъ себѣ, какъ это онъ вдругъ вступитъ въ сочетанiе съ какой либо другой человѣ-

ческой индивидуальностью и могъ себя вообразить не иначе, какъ замкнутымъ въ себѣ, обособленнымъ духомъ. Отъ этого Льва Михайловича совершенно невозможно сочетать съ какой бы то ни было общественностью. Для общественнаго дѣла онъ слишкомъ индивидуаленъ въ своихъ привычкахъ.

Я почти не помню того засѣданія, на которое бы онъ явился во время. — Что бы на свѣтѣ не происходило, онъ жилъ *по своему*, вставалъ приблизительно около часу дня, ложился днемъ около пяти и вновь вставалъ около одиннадцати, когда многіе другіе ложились. Какъ же при этихъ условіяхъ участвовать въ тѣхъ общественныхъ собраніяхъ, которыя происходятъ по вечерамъ. — Помню наше общее съ нимъ служеніе въ Московскомъ университетѣ, гдѣ мы были членами одной и то же „Совѣтской Комиссіи", рѣшавшей важнѣйшія университетскія дѣла. — Бывало, по окончаніи всѣхъ дѣлъ во время предсѣдательскаго резюме, появляется послѣ одиннадцати часовъ Левъ Михайловичъ. Его встрѣчаютъ добродушнымъ смѣхомъ, а иногда и ироническимъ апплодисментомъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ онъ жаловался на Комиссію, которая „захватила всѣ дѣла въ университетѣ и самодержавно имъ распоряжается".

Тутъ было много наивнаго эгоцентризма, который прощался Льву Михайловичу, потому что онъ отливался въ самыя добродушныя и чудаческія формы. — Въ концѣ концовъ, подъ старость, на этой почвѣ создалось глубокая трагедія духовнаго одиночества. Послѣ моего отъѣзда изъ Москвы Левъ Михайловичъ — одинъ изъ тѣхъ оставшихся, о которыхъ я не могу помыслить безъ щемящаго чувства боли въ сердцѣ. Что онъ дѣлаетъ теперь въ тѣ безконечные вечера, когда ему такъ необходимо человѣческое общество. Прежде бывало, онъ бралъ извощика и ѣхалъ въ клубъ или на вечеръ къ знакомымъ. Послѣ революціи онъ, состарившійся, больной, почти лишился возможности выходить по вечерамъ, а выѣзжать ему

стало не по средствамъ. *Заниматься* вечеромъ онъ уже давно не могъ; читать новѣйшую философскую литературу, безусловно ему чуждую по духу, было уже поздно, а потому безполезно; а его собственное философское творчество пресѣклось и остановилось еще въ концѣ прошлаго столѣтія.—Представить себѣ его теперь, одного, въ опустошенной „дѣтской“, безъ близкихъ людей, которые могли бы о немъ позаботиться, среди голодающей и мерзнущей Москвы, — какъ то жутко и страшно. Хотѣлось бы знать его до конца жизни окруженнымъ тѣмъ уютомъ и тепломъ, котораго было когда то такъ много въ его родительскомъ домѣ. Увы, гдѣ онъ теперь, этотъ уютъ московской жизни? — Возродится ли онъ когда нибудь изъ пепла? Дай Богъ. То высшее, духовное, что было въ этой старой Москвѣ, конечно, не сгорѣло.

V. Знакомство съ Соловьевымъ.

Зимою 1886—1887 года въ среду у Лопатиныхъ произошла моя первая встрѣча съ Владиміромъ Сергѣевичемъ Соловьевымъ. Въ свое время я описалъ эту встрѣчу и весь происходившій между нами разговоръ въ письмѣ къ брату Сергѣю, тогда жившему въ Калугѣ. Извлеченіе изъ письма, помнится, было мною дано С. М. Лукьянову, который, вѣроятно, помѣстилъ его въ своемъ собраніи біографическихъ матерьяловъ о Соловьевѣ. Поэтому воспроизводить этихъ разговоровъ, которые въ моментъ написанія письма были гораздо свѣжѣе у меня въ памяти, мнѣ теперь незачѣмъ. Скажу лишь о томъ общемъ впечатлѣніи, которое произвело на меня это знакомство.

Въ то время, когда оно произошло, съ Соловьевымъ была связана вся моя умственная жизнь. Все мое философское и религіозное міросозерцаніе было полно соловьевскимъ содержаніемъ и выражалось въ формулахъ, очень близкихъ къ Соловьеву. — Было между нами только одно крупное расхожденіе. — Со-

ловьевъ какъ разъ незадолго до нашей первой встрѣчи порвалъ съ И. С. Аксаковымъ и вообще съ тѣмъ лагеремъ старыхъ славянофиловъ, къ которому мои симпатіи все еще продолжали тяготѣть. Отношеніе Соловьева къ папству, — вотъ что было для меня безусловно непріемлемо. Его пониманіе соединенія церквей, какъ простого акта подчиненія восточной церкви апостольскому престолу, вызывало съ моей стороны горячій протестъ. Разсуждать такимъ образомъ по моему значило — отрицать самую религіозную особенность православія; выходило такъ, что его отдѣленіе отъ латинства было простымъ актомъ неповиновенія, не вызваннымъ никакими религіозными мотивами.

Неудивительно, что первый же нашъ разговоръ начался съ бурнаго и страстнаго спора. Съ первыхъ же словъ мы уже кричали другъ на друга. Но, какъ это часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, — именно этотъ крикъ насъ сблизилъ. Точнѣе говоря, онъ заставилъ насъ почувствовать ту близость, которая уже была раньше. — Мы сходились въ основномъ — самомъ дорогомъ для насъ обоихъ — въ признаніи Богочеловѣчества, какъ начала соборной жизни церкви, содержанія и цѣли всемірной исторіи. — Горячность и страстность нашего спора происходили именно отъ того, что сходясь въ основномъ началѣ жизнепониманія, мы расходились въ первостепенномъ вопросѣ о его практическомъ примѣненіи. Чѣмъ ближе между собою люди, тѣмъ существенное между ними расхожденіе ощущается болѣзненнѣе.

Крикъ словно освободилъ насъ отъ какой то тяжести и снялъ большое препятствіе къ нашему духовному общенію. Разговоръ происходилъ, какъ сказано, въ лопатинской „дѣтской“. Кричать намъ никто не мѣшалъ. Накричавшись вволю, мы вдругъ почувствовали какую-то легкость духа и нѣжность другъ къ другу. — Въ концѣ вечера мы уже весело шу-

тили и хохотали какъ старые друзья, каковыми мы и остались навсегда.

Съ тѣхъ поръ часто повторялись у меня съ Соловьевымъ эти горячія схватки съ крикомъ и раздраженіемъ — все по тому же поводу, всегда по вопросу объ отношеніи православія къ католицизму и папству. А за раздраженіемъ всегда слѣдовало быстрое и глубокое примиреніе.

Въ нашихъ разговорахъ было все время это сочетаніе притяженія и отталкиванія. Это были очень дружескія, но въ то же время — очень сложныя отношенія, потому что Соловьевъ былъ мнѣ сроденъ не только въ томъ, что я отъ него принималъ, но и во многихъ его положеніяхъ, которыя я отрицалъ.

Я жилъ въ атмосферѣ славянофильской мессіанической мечты объ осуществленіи Царствія Божія на землѣ черезъ Россію. — Но именно ученіе Соловьева о всемірной теократіи и доводило эту мечту до конца. Соединеніе церквей примиряло и объединяло подъ верховнымъ водительствомъ Россіи двѣ враждующія между собой половины славянства. Оно наносило смертельный ударъ Австріи и создавало духовныя основы для будущей Россійской Всемірной Имперіи. — Ученіе Соловьева о Россіи, какъ теократическомъ, „царскомъ народѣ“, — было чрезвычайно сродно той славянофильской имперіалистической мечтѣ, которую я лелѣялъ съ дѣтства. Но съ другой стороны это ученіе было логически и жизненно связано съ непріемлемой для меня мыслью о папской власти, какъ вершинѣ всемірной теократіи. Иными словами, мы оба стояли на почвѣ одной и той утопической и въ существѣ своемъ *славянофильской* мечты о мессіанической задачѣ русскаго народа и русскаго государства. Но только изъ насъ двухъ онъ былъ послѣдовательнѣе. Отъ этого внутренняго противорѣчія въ отношеніи къ Соловьеву я освободился значительно позднѣе, когда рухнула его и въ то же время — моя мессіаническая утопія.

Я не стану повторять здѣсь той пространной характеристики Соловьева по личнымъ воспоминаніямъ, которую я далъ въ моемъ двухтомномъ трудѣ о Соловьевѣ. Въ дополненіе къ ней скажу только, что впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на меня было единственнымъ по духовности и силѣ. Ни до, ни послѣ мнѣ не случалось встрѣчать человѣка, который бы такъ непосредственно, какъ онъ, заставлялъ ощущать соприкосновеніе съ другимъ міромъ. Сколько разъ съ глазу на глазъ съ нимъ я ощущалъ мистическій трепетъ, доводившій до сердцебіенія, когда по виду его измѣнившагося и поблѣднѣвшаго лица мнѣ становилось яснымъ, что *Соловьевъ что то видитъ*, — что именно, — этого я не рѣшался спросить. Когда вдругъ, ни съ того, ни съ сего на лицѣ его изображался мистическій ужасъ, становилось невообразимо страшно. Это было совсѣмъ не то ощущеніе, какое вызывалось лопатинскими благодушными разсказами о покойникахъ или, точнѣе говоря, о „безпокойникахъ". Нѣтъ, Вы тутъ чувствовали себя непосредственно передъ бездной и испытывали ощущеніе какой-то страшной медіумической силы. — А иногда мистическій ужасъ вызывался въ немъ разсказами о происшествіяхъ, которые всѣмъ прочимъ людямъ казались совершенно обыкновенными, естественными.

Помню, напримѣръ, какъ въ голодный 1891 годъ я разсказывалъ ему со словъ одного сельскаго хозяина про посѣвъ озимаго въ одной изъ нашихъ южныхъ губерній. Хозяинъ былъ пораженъ тѣмъ, что всѣ брошенныя на землю зерна тотчасъ приходили въ движеніе и словно куда то шли. Нагнувшись, онъ понялъ, что это — стая голодныхъ муравьевъ уноситъ зерна въ свои норки. — Дойдя до этого мѣста разсказа я былъ совершенно потрясенъ видомъ Соловьева — его большими, остановившимися отъ ужаса глазами и искривленными губами. — „Что съ тобой", спросилъ я испуганно. Отвѣта не послѣдовало, но я тутъ самъ вдругъ понялъ, что видъ дви-

жущагося и какъ бы куда то идущаго поля, о которомъ я разсказывалъ такъ просто, дѣйствительно граничитъ съ чудеснымъ и наводитъ мистическій трепетъ. — Выраженіе лица Соловьева было мнѣ вполнѣ понятно. Онъ видѣлъ въ голодѣ 1891 года своего рода казнь египетскую, ниспосланную свыше за грѣхи Россіи. Никто другой не могъ такъ, какъ онъ, по самому неожиданному поводу заставить ощутить непосредственную близость чудеснаго. Болѣе того, въ общеніи съ нимъ всегда, бывало, чувствуешь, что самая граница чудеснаго и естественнаго снята. — То Вы испытывали благоговѣйный трепетъ передъ чудеснымъ явленіемъ Божіей правды и суда, то наоборотъ, — жуткое ощущеніе вторженія темныхъ, сатанинскихъ силъ въ человѣческую жизнь.

То „ощущеніе духа", которое вызывалось обликомъ Соловьева, — совсѣмъ иного рода, чѣмъ то, которое заставлялъ переживать Лопатинъ. Во впечатлѣніи личности Соловьева сказывалась одному ему присущая мощь. И самое отношеніе къ духу у него было иное: весь его пафосъ былъ совершенно другой, чѣмъ у Лопатина. Ему былъ органически чуждъ лопатинскій индивидуализмъ самодовлѣющей душевной субстанціи. Человѣческій индивидъ интересовалъ его не самъ по себѣ, не въ его отдѣльности, а какъ часть соборнаго цѣлаго, какъ членъ *Богочеловѣческаго организма* Христова. Лишь во вселенскомъ цѣломъ этого организма признавалъ онъ субстанціональное, существенное содержаніе, а не въ изолированномъ человѣческомъ индивидѣ. — Онъ живо чувствовалъ то преувеличеніе и извращеніе истины, которое заключалось въ крайностяхъ лопатинскаго индивидуализма. И это расхожденіе вызывало частые споры между друзьями, споры со стороны Соловьева иногда и шуточные по формѣ,но всегда серьезные по существу.



Складъ изданія: Софія, ул. 11 Августа, 4.

Придворна Печатница, отдел на „Графика" — А. Д.

